

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

И. М. Савельева, А. В. Полетаев

**ИСТОРИЯ И ИНТУИЦИЯ:
НАСЛЕДИЕ РОМАНТИКОВ**

Препринт WP6/2003/06

Серия WP6
Гуманитарные исследования ИГИТИ

Москва
ГУ ВШЭ
2003

УДК 7.035
ББК 83
С 12

С 12 **Савельева И.М., Полетаев А.В.** История и интуиция: наследие романтиков. Препринт WP6/2003/06 — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 52 с.

Первая половина XIX в., на которую приходится пик популярности исторической литературы, в историческом знании отмечена господством романтизма, подхода, основанного на интуитивистском способе конструирования социальной реальности прошлого. Многие введенные романтиками принципы организации знания о прошлом определили облик исторической науки более чем на столетие. Достаточно перечислить такие базовые понятия, характеризующие романтический подход к истории, как историзм, разнообразие, органицизм, экзотизм. Даже позитивизм, уничтоживший самый «дух романтизма», не поколебал эти основы, заложенные романтической историографией.

Тем не менее, основные достижения романтизма, оставаясь опорными методологическими принципами исторических исследований по сей день, преобразованы столь радикально, что в исторической науке, в отличие, например, от искусства, со второй половины XIX в. мы не обнаруживаем сколько-нибудь значимых продолжателей романтического подхода. В данной работе рассматриваются базовые принципы романтической историографии, анализируются причины ее недолговечности и намечаются основные линии трансформации, которую претерпели романтические новации в последующих аналитических интерпретациях истории.

УДК 7.035
ББК 83

Savelieva I., Poletaev A. The history and the intuition: romantic heritage. Working paper WP6/2003/06 — Moscow: State University — Higher School of Economics, 2003. — 52 p. (in Russian).

The first half of the 19th century is characterized by popularity of romantic historical literature, based on intuitive way of construction of the social reality of the past. Many principles of historical knowledge introduced by romantics defined the shape of history as a science for almost a century. This is amply sufficient to specify such basic terms taken from romantic approach to history as historicism, diversity, organicism, exoticism. Even positivism that destroyed the very spirit of the romanticism did not shake these principles created by romantic historiography.

Nevertheless major achievements of the romanticism that still remain the foot-stone principles of historical research were transformed so drastically that since the second half of XIX century we can not reveal any significant heir of romanticism in historical science. The point of this paper is to investigate basic principles of romantic historiography, analyze possible reasons of its short-lived period and mark out major lines of transformation that romantic innovations underwent in the subsequent interpretations of the history based on analytical approach.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта «Репрезентация прошлого как социointegrативный фактор» (грант № 03-01-00016а).

Препринты ГУ ВШЭ размещаются на сайте:
<http://www.hse.ru/science/preprint/>

© Савельева И.М., 2003
© Полетаев А.В., 2003
© Оформление. ГУ ВШЭ, 2003

Вопрос об отношении историка к прошлому — это вопрос о соотношении повествовательного и аналитического, индивидуализирующего и генерализирующего, интуитивного и рационального начал в историческом познании. Кроме того, прошлое множественно, и «у любого общества может быть столько вариантов прошлого и видов зависимости от этих вариантов, сколько связей с прошлым существует в обществе»¹.

Тем не менее, систематизация способов конструирования прошлого в исторических трудах представляется возможной. Анализируя хорошо известные концептуальные ориентиры разных историографических школ, можно более отчетливо определить методы конструирования прошлого и типы, в которых оно представлено в разных направлениях.

Отказавшись от традиционных классификаций по методологическим или идейно-политическим направлениям, мы выделяем три тенденции в историографии, отличающиеся способом конструирования «истинной картины» прошлого: аналитическую, прагматистскую и интуитивистскую. Подчеркнем, что в нашем исследовании речь идет не о философии исторического знания, которая занята определением «истинной сути» исторических произведений, а об историографии, где под «истиной» подразумевается «истинная картина» прошлого². При этом не обязательно имеется в виду соотносимость с реальностью (хотя такая позиция чаще всего заявляется). Понятие «истинной картины» трактуется весьма широко, и по сути более точен термин «историческая правда», так как речь идет о «правильной» картине прошлого. Таким образом, мы не берем на себя вынесение конечного суждения о том, какой из способов конструирования прошлого является «действительно истинным» или «действительно правильным». Каждое из выделяемых нами историографических направлений предъявляло претензии такого рода, и каждое из них получало социальное признание, по крайней мере в определенных кругах и в определенное время.

В отличие от возникших относительно последовательно трех современных философских трактовок истины, три соответствующие им тен-

¹ *Роскок* 1961: 245.

² Нашу интерпретацию проблемы исторической истины см. в статье «Историческая истина: эволюция представлений» (*Савельева, Полетаев* 2001: 162—181). Отметим, что за время, прошедшее с момента опубликования этой статьи, определенная «эволюция представлений» произошла и у нас. Вместо использованного там определения «экзистенциальная», применительно к историографии мы предпочитаем говорить об «интуитивистском» способе конструирования истинной картины прошлого.

денции, которые мы обнаруживаем в историографии, существовали параллельно начиная с XIX в. Уже в первой половине этого столетия тех, кто пишет о прошлом, можно разделить на рационалистов, практикующих аналитический способ конструирования прошлой социальной реальности, и романтиков, полагающихся на интуитивный способ познания, а о пристрастности исторических оценок немецкий мыслитель Й. Хладениус писал еще в середине XVIII в.

Во многих исторических сочинениях можно обнаружить одновременное присутствие если не всех трех, то как минимум двух тенденций. Например, прагматическая направленность может быть явно выражена как в аналитическом, так и в интуитивистском подходе к социальной реальности прошлого. Речь идет о тенденциях в историографии, а не о школах или даже конкретных сочинениях, хотя иногда возможны и относительно «чистые» случаи.

В данной работе рассматривается способ конструирования социальной реальности прошлого, который мы назвали интуитивистским. В качестве первого по времени и наиболее последовательного воплощения этого подхода к репрезентации прошлого мы выделяем романтическую историографию XIX в. Следующий век уже не дал таких целостных образцов интуитивистского способа конструирования прошлого как романтизм.

Задача историка, конструирующего социальную реальность прошлого с опорой на интуицию, состоит в том, чтобы «почувствовать» людей прошлого, их мысли и действия самому и передать это ощущение читателю. В приеме «вчувствования» центральным моментом является идентификация автора с «Другим», будь то исторический персонаж или историческое время. Тем самым историк выступает как «творец» или как «открыватель», как создатель «конструкции» или как автор «реконструкции». Ключевые слова для определения романтической историографии — вчувствование, сопереживание, погружение, интуиция. Все эти техники относятся к области воображения — метода, безусловно, занимающего значительное место в арсенале познавательных средств историка.

О роли воображения в историческом исследовании сказано достаточно много. Возобновившаяся в эпоху Возрождения дискуссия вокруг сформулированного Аристотелем различия между историей и поэзией (литературой), за которым стоит различие в способах познания, продолжается по сей день. Большинство высказываний о роли воображения в историческом познании сделано в контексте дискуссии о том, что есть история — наука или искусство. Спор этот проанализирован нами в статье «История как теоретическое знание»³.

³ Савельева, Полетаев 2000.

Представление о характере *исторического воображения* концептуализируется историками-романтиками в первой половине XIX в. Романтики, наследуя в этом вопросе теоретикам Просвещения, опирались на немецких идеалистов, особенно на В. фон Гумбольдта (на которого, в свою очередь, повлияли соображения Канта). Кант понимал воображение как аспект познания, означающий намного больше, чем просто фантазирование или риторические изыски с целью усиления эффекта воздействия, и показал, что воображение как познавательная способность действует не в произвольной, а в априорной форме, позволяя связывать воедино разрозненные данные и осуществлять тем самым конструктивную работу, в том числе и в историческом познании.

Постольку поскольку история рассматривалась романтиками в частности и как литературный жанр, воображение признавалось основополагающим условием исторического (литературного) творчества: оно выступало как необходимый мыслительный акт, позволяющий историку установить связь между отрывочными и смутными историческими свидетельствами, с тем чтобы сконструировать осмысленную картину прошлого. В целом историческое воображение трактовалось как «искусство... делать прошлое полностью понятным, позволяя нам проникнуть в сознание и ощутить страсти людей, которые... кажутся очень непохожими на нас»⁴.

Романтики, введя в представление о литературе принцип и структуры субъективности, причем субъективности как автора, так и истолкователя (читателя) в их взаимосвязи, задали воображению еще одну функцию — пробуждения соответствующих эмоций у читателя, который тем самым становился сопричастным творческому акту историка. Именно потому, что ставилась задача эмоционального приобщения читателя к субъективному видению автора, в исторических сочинениях романтиков ценились такие качества как способность достигать понимания прошлых событий и ситуаций, отвлекаясь от ценностей и представлений своего времени; умение с помощью средств языка создавать живую картину прошлого; манера трактовать свидетельства прошлого неожиданным, оригинальным способом.

1. Романтизм: «картина мира»

«Картину прошлого» в романтической историографии и способы ее конструирования было бы неправомерно рассматривать без соотнесения с общей «картиной мира», созданной усилиями представителей романтизма в разных областях знания. Это требование, справедливое для анализа любого на-

⁴ Hughes 1964: 97.

правления исторической мысли, особенно на до-научной стадии, как нам кажется, особенно важно sobлюсти при анализе романтической школы.

Созданная историками-романтиками «картина прошлого» представляла собой не просто проекцию романтического мировоззрения. Несмотря на отчетливо выраженное профессиональное лицо, романтическая историография была слабо дифференцирована не только от философского, но даже от художественного знания. У историков-романтиков мы наблюдаем очень интересный сплав, обусловленный влиянием идеологии, философии, религии и искусства. Представители романтической школы в историографии находились под воздействием идей многочисленных выразителей «духа эпохи»: будь то Ф.В. Шеллинг в философии, Ф.Р. Шатобриан в политической мысли, Ф. Шлегель в эстетике или В. Скотт в художественной прозе, не говоря уже о характерных для многих романтиков религиозных исканиях⁵.

Исторический романтизм, что станет нетипичным для последующих историографических течений, когда история начнет утверждаться как научное знание о прошлом, во многом опирался на художественные принципы, разработанные в романтической эстетике и реализованные в романтическом искусстве. Синтез, о котором идет речь, сложился вовсе не стихийно, он представлял собой искомое состояние романтического идеала новой универсальной культуры, в котором искусство, философия, наука, идеология и религия сливались воедино.

Сама этимология понятия «романтизм» отсылает к области художественной литературы. Первоначально слово *romance* в Испании означало лирическую и героическую песню — романс; затем большие эпические поэмы о рыцарях; впоследствии оно было перенесено на прозаические рыцарские романы. В XVII в. эпитет «романтический» (фр. *romantique*) служит для характеристики авантюрных и героических произведений, написанных на романских языках, в противоположность тем, которые написаны на языках классических.

В XVIII в. это слово начинает употребляться в Англии применительно к литературе Средневековья и Возрождения. Одновременно понятие «romance» стали использовать для обозначения литературного жанра, подразумевающего повествование в духе рыцарских романов⁶. Да и в целом во второй половине этого же столетия в Англии прилагательное «romantic» описывает все необычное, фантастическое, таинственное

⁵ О важности религиозных исканий романтиков свидетельствует даже то, что религиозная терминология присутствовала в названиях многих самых известных сочинений: «Гений христианства» Шатобриана (1802), «Религиозные рассуждения о Франции» де Местра (1797), «Речи о религии» (1799) Шлейермахера, «Христианство или Европа» (1799/1826) Новалиса.

⁶ Eichner 1972: 4.

(приключения, чувства, обстановку). Наряду с понятиями «живописное» (*picturesque*) и «готическое» (*gothic*) оно обозначает новые эстетические ценности, отличные от «универсального» и «разумного» идеала прекрасного в классицизме.

Хотя прилагательное «романтический» начинает использоваться в европейских языках по меньшей мере с XVII в., существительное «романтизм» первым ввел в обиход Новалис в конце XVIII в. В конце XVIII в. в Германии и в начале XIX в. во Франции и ряде других стран романтизм становится названием художественного направления, противопоставившего себя классицизму. Как обозначение определенного литературного стиля в целом его концептуализировал и популяризовал А. Шлегель в лекциях, которые он читал в конце XVIII — начале XIX в. в Йене, Берлине и Вене («Лекции об изящной литературе и искусстве», 1801—1804). В течение двух первых десятилетий XIX в. идеи Шлегеля распространяются во Франции, Италии и Англии, в частности, благодаря популяризаторской деятельности Ж. де Сталь. Закреплению этого понятия способствовала работа И. Гёте «Романтическая школа» (1836).

Термин «романтизм» обрел в это время и более широкое философское истолкование и познавательное значение. Романтизм в период своего расцвета создал собственное направление в философии, теологии, искусстве и эстетике. Особенно ярко проявившись в этих областях, романтизм не миновал также историю, право и даже политэкономии.

Конечно, будучи столь всеобъемлющим течением, романтизм очень разнообразен. Может быть, принципиальным антиуниверсализмом романтизма и акцентированной свободой самовыражения объясняется тот факт, что в среде романтиков был необыкновенно высок удельный вес фигур выдающихся. В свою очередь, великие, в отличие от эпигонов, труднее поддаются стандартизации. И в результате романтизм вмещает в себя так много (уже не говоря о столь многих), что провоцирует на прямо противоположные интерпретации. Его практически непродуктивно квалифицировать по стилистическим и даже идеологическим версиям; скорее можно говорить о различиях по странам (национальных характеристиках) и тесно связанной с ними «специализации» по областям знания.

Западная Европа в это время была уже достаточно целостным культурным ареалом, и взаимодействие романтических школ оказалось весьма прихотливым. В пространственных координатах мы бы выделили в качестве основополагающих немецкий, французский и английский варианты романтизма. Задавая тон в европейском искусстве и общественной мысли, эти национальные версии по-разному проявлялись в разных областях знания. Так, в Германии «романтическое» других были философы, в то время как во Франции возникла блестящая плеяда историков-романтиков. В об-

ласти литературы, живописи или музыки выделить «национального» лидера затруднительно. Что же касается архитектуры, то в этой сфере, помимо возрождения предшествующих стилей, сугубо романтической новацией, кажется, следует признать только эстетизацию руин.

«Пестрота» романтизма во многом обусловлена тем, что это направление с самого начала формировалось под воздействием принципиально различных идейно-политических факторов. С одной стороны, романтизм явился квинтэссенцией антипросветительского движения, прокатившегося на рубеже XVIII—XIX вв. по всем европейским странам. В этом смысле классической страной романтизма была Германия. Антипросветительский дух немецкого романтизма во многом связан со спецификой немецкой философской и научной мысли, которая разительно отличалась от основной идейной традиции XVIII в. в Западной Европе. Не философский материализм, рационализм и эмпиризм просветителей, а символизм, органонология, мистицизм привлекали новое поколение немецких мыслителей.

С другой стороны, «в явлении романтизма мы обнаруживаем людей, устанавливающих заново отношения со своим прошлым после шока Французской революции»⁷, что кардинально определило его природу и динамику. Однако не следует забывать, что романтики прошли не только через революции, но и через реставрации, их «веком» был довольно короткий, но необычайно динамичный период 1789—1848 гг. с бурными потрясениями европейского порядка, войнами, национально-освободительными движениями и недолгими паузами политического затишья. Если на первом этапе романтизм вдохновлялся пафосом революции, то на втором — бурно реагировал на ее последствия.

События Французской революции, ставшие решающей социальной предпосылкой интенсивного развития романтизма во всей Европе, в Германии были пережиты преимущественно «идеально». Это содействовало перенесению общественных проблем в сферу спекулятивной философии, этики и особенно — эстетики. В послереволюционную эпоху, когда неудовлетворенность происшедшими политическими преобразованиями становится всеобщей, своеобразные черты духовной культуры Германии получают общеевропейское значение и оказывают сильнейшее воздействие на философию, общественную мысль, эстетику и искусство других стран.

Национальные варианты романтизма отличаются важными содержательными характеристиками: немецкий романтизм определяется безусловным приоритетом йенской школы, а на французской и английской почве возникает консервативный вариант романтизма, инспирированный сочинениями Э. Бёрка, Ж. де Местра и Ф.Р. де Шатобриана. Две версии роман-

⁷ Butterfield 1955: 18.

тизма возникли практически одновременно: программные идеи йенского кружка романтиков были сформулированы в конце 90-х гг. XVIII в. в журнале «Атений», издававшемся братьями Шлегелями; работы Бёрка, де Местра и Шатобриана появились соответственно в 1790 и 1797 гг.

Йенский романтизм является непосредственным продолжением и развитием идей предшествующей эпохи «Бури и натиска» (И.Г. Гёте, Ф. Шиллер, Г. Гейне). В то время как сами «бурные гении» в лице Гёте и особенно Шиллера вступают на путь классицизма и философского идеализма, немецкие романтики остаются проповедниками непосредственного чувства жизни, то есть прежде всего реалистами⁸. Йенские романтики, образовавшие кружок в 1798—1801 гг. (И.Г. Фихте, А.В. Шлегель, Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер, Новалис, Л. Тик, Ф.В. Шеллинг), выступали против бездеятельного созерцания и пассивного подчинения существующему порядку вещей, и их произведения пронизаны возвышенным чувством бесконечных возможностей.

Одна из важных особенностей романтизма йенского периода, придавшая специфический облик (имеется в виду и форма, и содержание) в том числе и историческим работам, написанным в «романтическом» ключе — страстная всеохватывающая жажда совершенства и связанное с этим активное творческое начало. Философия романтизма — порождение исторически динамичного времени — трактует индивида как творца, а действительность — как вечное творение. Романтики йенской школы были проникнуты убеждением, что все на свете можно переделать. Главный интерес романтиков относился к невоплощенному; мир, природа, человек рассматривались в духе натурфилософии Шеллинга как вечное творчество. И в мире природы, и в мире мыслей они видели творимую жизнь, вечное обновление.

Глубине и всеобщности разочарования в действительности, в возможностях цивилизации и прогресса романтики противопоставляли тягу к «вечному», к идеалам абсолютным, безусловным, мечтая не о частичном совершенствовании жизни, а о целостном разрешении всех ее противоречий. Надежды на совершенное общество носили универсальный характер, но существенно, что желаемое обновление должно было иметь духовную, а не практическую доминанту. И если взгляд романтиков устремлялся в прошлое или в будущее, то одной из целей такого «всматривания» было преобразование настоящего.

В политических произведениях Бёрка и французов-эмигрантов влиятельно заявила о себе другая, консервативная версия романтизма. В консервативной интерпретации исторический оптимизм и деятельное начало

⁸ Жирмунский 1996 [1914]: 21.

меняются на «мировую скорбь», республиканизм и приверженность идеям Французской революции — на антиреволюционные настроения и т. д. Чуть позднее дрейф к консервативному варианту, «омрачение» романтизма, по удачному определению Н. Берковского, начинается и в Германии. Эта тенденция характерна как для романтиков гейдельбергской школы, так называемого второго поколения немецких романтиков, объединявшихся в 1805—1809 гг. в литературных кружках Гейдельберга (Л.А. фон Арним, К. Brentano, братья Я. и В. Гримм, Й. фон Эйхендорф), так и для йенских романтиков⁹, политическим стимулом для изменения исходных позиций которых стало угасание энтузиазма, вызванного Французской революцией, и выдвигание на первый план задач национального освобождения в связи с нашествием наполеоновских войск.

Основная идейно-политическая предпосылка позднего романтизма — разочарование в «воплощенной идее» революции и шире — в результатах социального, промышленного, политического и научного прогресса, не только принесшего жестокие бедствия, но и, как казалось художникам и интеллектуалам, создавшего почву для нивелировки и бездуховности личности. Поэтому для романтиков столь важным оказался принцип «одухотворения», выражавшийся в стремлении наделять душой все, включая и неорганическую природу (в противоположность тому, как представители культуры следующего века будут эксплуатировать идею обездуховления всего).

Разлад между идеалом и действительностью приобретает в романтизме необычайную остроту и напряженность, что составляет сущность так называемого романтического двоения. Одна из самых интересных особенностей романтизма — это статус, который это мировоззрение придавало реальности. Реальность, с точки зрения романтика, означает не внешний облик и «ход вещей», не «признанную Видимость», бросающиеся в глаза каждому, а истину, глубоко сокрытую под внешней оболочкой. Особенно характерно это было для немецких романтиков. Ведь, в отличие от Франции,

«революция ничего не изменила в отсталой, убогой, по-прежнему раздробленной Германии, изнывающей под управлением своих князей и поставленных ими у власти бюрократов, штатских, полицейских и военных... Освещенные критикой, призрачные эти мирки окончательно теряли реальность — получался реализм без реальностей» (*Берковский* 2001 [1973]: 135).

Поэтому немецкие романтики критике современности, «нынешней» для них социальной реальности, предпочитали уход в «правильную реальность» или уже в «чистую ирреальность» (Э.Т.А. Гофман). В настоящем романтики полагали реальным то, что соответствует идеалу, и точно так же

⁹ О немецких романтиках подробнее см.: *Берковский* 2001 [1973].

относились к представлению о прошлом. С точки зрения романтика, прекрасное прошлое, которое создает художник или историк, более истинно и более реально, нежели то, которое можно помыслить рационально.

Иррационализм, мистицизм и религиозность романтического мировоззрения тоже располагали к постижению прошлого. Мистическое начало можно проследить и в творческой интуиции романтиков, и в их теоретических взглядах, которые культивировали таинственность мира. У представителей йенской школы с характерным для них активным отношением к миру, мистицизм признавался способом проникновения в тайны жизни. В. Жирмунский вообще определял романтизм как форму развития мистического сознания: «...все романтические вопросы и ответы возвращаются к... единому центру — мистика природы и любви, мистическая этика и философия истории, мистическая поэтика и новая религия»¹⁰. В последующий период, когда романтизм наполнился настроениями безнадежности, отчаяния, вплоть до «космического пессимизма», уже сама действительность представляла как иррациональная, непознаваемая и враждебная природе человека и его личностной свободе.

Романтики в очередной раз зарядили европейскую культуру пафосом сохранения и реставрации. Они культивировали древние руины, в том числе и искусственно созданные, старинные книги, памятники. Они стали инициаторами изучения и возрождения фольклора и других форм народного творчества. (Хотя увлечение фольклором и национальными хрониками было связано не только с любовью к старине, но и с ориентацией на демократическую традицию, и с ростом национального самосознания, тоже во многом инспирированными романтиками).

Однако, если вдуматься, не «мировая скорбь» и утонченная любовь к руинам (в прямом и переносном смысле), которые часто отмечали как определяющие черты романтизма, а инициатива преобразования составляет существо романтического мировоззрения. Так же как для романтических поэтов, в частности, Вордсворта, детство было временем духовной глубины, с которым они не желали утрачивать связь, ибо верили, что там находится источник творчества¹¹, так и прошлое для романтиков было источником настоящего. Романтик чужд идее застоя или возврата к прошлому, даже если скорбит о нем. Насколько романтизм был настроен на практическую, направленную в будущее деятельность, можно судить, например, по работам Новалиса «К Бонапарту», «К новому столетию», «К народу Европы», «Против старой морали».

¹⁰ *Жирмунский* 1996 [1914]: 5—6.

¹¹ См. главу «Вильям Вордсворт и мнемоника автобиографии» в работе П. Хаттона (*Hutton* 1993: ch. 3).

Как считал Берковский, усилиями романтической школы было проведено «осознание давно сложившихся ценностей в эпоху, когда подошел срок для осознания». Романтики и сами понимали свою миссию как обнаружение открытого до них, как осмысление огромного европейского опыта. «Примерно пять веков европейского развития, 1300—1800 гг., пережитые с точки зрения одного великого пятилетия, 1789—1794 гг., — вот что такое романтизм»¹².

Введенные романтиками принципы познания социального мира и человека определили характерный для этой эпохи облик знания о прошлом — истории. Достаточно лишь перечислить такие базовые понятия, характеризующие романтическое мировоззрение, как становление, творение, разнообразие, органицизм, экзотизм. Важнейший аспект романтического наследия в западной культуре — убеждение, что история чрезвычайно важна и является как способом самопознания человека и общества, так и методом познания, который применим поистине к любому объекту: природе и культуре, языку и праву, государству и личности.

2. Романтическая конструкция прошлого

Первая половина XIX в., на которую приходится пик популярности исторической литературы, определялась господством романтической историографии. Именно историков-романтиков (О. Тьерри, Ж. Мишле, А.-Г.-П. де Баранта, Т. Карлейля) на протяжении всего этого периода читала, слушала и любила публика. Значимы и самые имена этих историков: порой кажется, что количество известных представителей романтического направления XIX в. сильно превышает число сопоставимых по известности историков-аналитиков, пожалуй, не только XIX, но и XX столетия. Успеху романтической историографии способствовало и новое, впервые проблематизированное романтиками, отношение к роли читателя как соавтора, соучастника творчества.

Центром романтической историографии была Франция (в какой-то степени за ней последовала Англия), причем в этой историографии были ассимилированы философские и эстетические принципы романтизма как периода «подъема», так и периода «распада». В немецкой историографии принципы романтизма нашли наиболее яркое выражение в произведениях «нарративной романтической школы» (Я.И. фон Гёррес, Г. Луден, Г. Лео, Б. Менцель, Ф. Рис), но эти историки не получили сопоставимого признания у европейской публики.

¹² Берковский 2001 [1973]: 97.

Один из основоположников французской романтической школы О. Тьерри в 1834 г. в предисловии к сборнику своих статей, написанных в начале 1820-х гг., писал:

«Я испытал счастье увидеть то, о чем я больше всего мечтал — исторические труды завоевали себе наибольшую популярность в общественном мнении; ими занялись самые первоклассные писатели. Существовало мнение, тогда казавшееся вполне обоснованным, что именно история наложит свой отпечаток на XIX в., что она даст ему имя, как философия дала свое имя XVIII в.» (Thierry 1836 [1834]: XX—XXI).

И действительно, XIX в. впоследствии стали называть, в том числе, и «веком истории» — эта метафора во многом обязана своим появлением именно романтической историографии.

Надо сказать, что обнаружение ближайших предшественников романтической историографии представляет собой большую проблему. Конечно, к этому времени уже состоялось «Кельтское возрождение» (конец XVIII в.), шло возрождение готического стиля в архитектуре, появились романы о Средневековье в Англии, как стилизации, так и мистификации¹³. Все это свидетельствовало об увлечении прошлым и попытках инкорпорировать его в настоящее. Тем не менее, развитие исторической мысли в XVII—XVIII вв. ничем не предвещало появления целого потока сочинений о прошлом, сознательно основанных на мобилизации воображения и эмоций.

Достаточно аналитические конструкции прошлого, предложенные крупнейшими историками XVIII в., среди которых Д. Юм, У. Робертсон, Э. Гиббон, Ю. Мёзер, А.Л. Шлёцер, Вольтер и др., имели мало общего с сочинениями, которые чуть позже стали выходить из-под пера романтиков. В то время как «историческая» традиция Нового времени учила писать ясно и просто, Тьерри и другие романтики ввели в практику исторического сочинения риторику художественной литературы, возвращаясь к давно отвергнутым историками приемам.

И все-таки предпосылки для того, чтобы романтическая конструкция истории вообще состоялась, конечно, были. Важнейшая из них — становление историзма как базового принципа интерпретации исторического процесса. Например, весьма перспективными для романтиков оказались некоторые идеи Руссо, причем не только предложенное им толкование истории, но и его педагогические взгляды.

¹³ Так, Г. Уолпол, автор «Замка Отранто» (1772), одного из самых известных произведений нового жанра, получившего впоследствии название «готического романа», издал его анонимно и представил себя как переводчика и издателя старинной рукописи. Самые знаменитые мистификации принадлежали Т. Чаттертону (1752—1770), который выдавал свои стихи за сочинения Т. Раули, якобы жившего в XV в.

Руссо, живший в эпоху Просвещения, развивал абсолютно нетипичный для просветителей подход к прошлому. Принцип, с помощью которого Руссо объяснял историю — идея всеобщей воли, исходящей от самого народа как целого, которая, в отличие от Разума, существовала и действовала всегда — можно было применять не только к истории цивилизованного мира, но и к истории всех народов во все времена. В результате презираемые идеологами Просвещения, лишённые Разума

«эпохи варварства и предрассудков становились... доступными человеческому пониманию, и появлялась возможность рассматривать всю человеческую историю, если не как историю человеческого разума, то по меньшей мере как историю человеческой воли» (*Коллингвуд* 1980 [1946]: 84).

В свою очередь педагогические воззрения Руссо, предполагавшие интерес и уважение к внутренней жизни ребенка разных возрастов, к его «наивным» представлениям и интересам, будучи экстраполированными на прошлое, на «возрасты человечества», позволяли трактовать предшествующие «примитивные», «темные», «варварские», с точки зрения просветителей, исторические времена, как эпохи, обладавшие собственной ценностью.

Но более всего утверждение историзма в европейской общественной мысли объясняется авторитетом немецкой классической философии. Именно «немецкая историческая мысль научила мир мыслить исторически»¹⁴, и прорыв этот совершили три немецких мыслителя: Ю. Мёзер, И.Г. Гердер и И.В. Гёте. В этом смысле для романтической историографии основополагающим сочинением стали «Идеи к философии истории человечества» Гердера (1784—1791), четырехтомное произведение, в котором были разработаны два принципа, ключевые для будущего исторического знания: историзм как представление об обществе и способ изучения общества (да и вообще всего сущего¹⁵) в развитии и идея множественности культур, также получившая продолжение в романтической литературе.

Однако идеи Гердера и других видных историков XVIII в. были отчетливо рационалистическими, вполне в духе века Просвещения (но существенно, что у Гердера присутствовала идея относительного прогресса и потому он был приемлем для романтиков). Радикальное преобразование идей немецких классиков философии в интуитивистскую форму связано с тем, что питательной средой для развития историографии на следующем этапе стал романтизм, направление, буквально покорившее Европу в первой половине XIX в. В самом деле, историография романтизма, как писал Б. Кроче,

¹⁴ *Meineke* 1946 [1936]: 2.

¹⁵ Общая закономерность мира, согласно Гердеру, состоит в том, что организмы созданы таким образом, что порождают организмы более высокого порядка. Это касается и мира природы, и общества.

«не сводится к отдельным произведениям и именам: [она] словно половодье захлестнула все или почти все, что писалось в то время, с ней можно встретиться не только у не самых глубоких авторов вроде де Баранта или у таких поэтических натур как Шатобриан, но и у поистине серьезных ученых, например, у Нибура» (*Кроче* 1998 [1917]: 160).

Историки-романтики в огромной степени испытали влияние политической доктрины консервативного, охранительного романтизма, разработанной в трудах традиционалистов, чьи произведения представляли собой философско-исторические осмысление Французской революции (Э. Бёрк, поздний Ф. Шлегель, Ж. де Местр, Л. Бональд, Ф. де Шатобриан и др.). Особенно велико было значение трудов Шатобриана. Его «Опыт о революциях» (1797) и «Гений христианства» (1802) стали вехами в политике и религии, литературе и истории. Как сказал в своей элогии, посвященной Шатобриану, О. Тьерри: «Все, кто разными тропами шли сквозь наше столетие, встретили его на своем пути как источник собственных исследований и вдохновения»¹⁶. Для исторической мысли значение «Гения христианства» помимо всего прочего состояло в том, что это сочинение стало и открытием Средневековья, и его выдающейся апологией. Именно Шатобриан, в книге которого на самом деле мало исторического, создал культ воображения и эмоционального воздействия и подвинул на изучение Средних веков целую плеяду великих историков.

Однако романтизм в историографии — явление намного более разнообразное и динамичное, чем политический традиционализм. Получив импульс от так называемых консервативных романтиков, которые любили очень конкретное прошлое европейских народов — монархию и традиционное общество — романтическая историография в целом больше соответствовала духу йенской школы. В результате философия истории в работах романтиков предстает как одновременно ностальгическая, реставрационная и конструктивная.

Романтическая историография отказалась от универсалистского подхода в области исторического знания. Романтизм не претендовал на всеобщность; романтики мыслили в национальных, этнических пределах, и определение специфики национального духа и национального прошлого входило в число их главных познавательных задач. В интерпретации истории романтики порвали с идеей всеобщего характера исторического процесса, естественного права и другими универсалистскими принципами, характерными для просветителей. Романтическое направление утвердило представление о том, что история раскрывается не в единых законах

¹⁶ Цит. по: *Gooch* 1928 [1913]: 162.

и не в деятельности отдельных лиц, а в творчестве целых народов и наций, что каждому народу свойственно свое неповторимое развитие.

Так, на протяжении очень короткого периода на смену униформизму и стандартизации пришел принцип разнообразия. Идею диверсификации, например, Лавджой вообще считает единственным

«общим фактором множества тех разнообразных течений, совокупность которых историки и критики обозначили как “романтизм”: безмерное умножение жанров и стилей; признание эстетической легитимности *genre mixte* (смешанных жанров); *gout de la nuance* (вкус к нюансам); натурализация «гротескного» в искусстве; внимание к оттенкам; стремление воссоздать с помощью воображения специфику внутреннего мира людей прошлых эпох, стран, культур; *et alage du moi* (выставление себя напоказ); отказ от буквальной точности в описании пейзажа; отвращение к простоте; недоверие к универсальным формулам в политике; эстетическая антипатия к стандартизации; отождествление Абсолюта с “определенным видом конкретной реальности” в метафизике; чувство великолепия несовершенного; культивирование индивидуальных, национальных, расовых особенностей» (Лавджой 2001 [1936]: 301).

Принцип диверсификации оказался ключевым для развития исторических исследований эпохи романтизма¹⁷. Он определил два главных направления «прорыва» в историческом знании: развитие идеи о многовариантности культур и «уравнение в правах» исторических эпох.

Характер прошлого

Применительно к романтической историографии справедливо поставить вопрос о характере прошлого, которое она конструировала. Можно ли говорить о стремлении романтиков понять прошлое как *Другое* и, если можно, то возникло ли в их произведениях *Другое* прошлое? Независимо от ответа на этот вопрос для его постановки существует целый ряд веских оснований.

Понятие *Другой* использовал еще Платон в диалоге «Тимей», но его возрождением в Новое время мы обязаны Фихте, который, как известно, входил в группу йенских романтиков. Позднее понятие *Другой* как осознание действующим субъектом другого субъекта как не-себя концептуализировал В. Дильтей. В XX в. этот концепт стал одним из базовых в социологии, психологии и культурной антропологии. Постепенно во второй половине XX в. термин укореняется и в исторической науке. Поэтому, когда мы

¹⁷ «... Для внутренне конфликтной, всегда драматически раздвоенной романтической мысли не менее значим другой полюс — идея и символика универсального, всеобщего, всемирного» (Дубин 2002: 15).

говорим о *Другом* прошлом у историков-романтиков, мы, конечно, имеем в виду не концепцию, а подход, принципы конструирования социальной реальности прошлого, специфические для романтической историографии.

Как мы уже отмечали, прошлое стало считаться заслуживающим внимания, изучаться и трактоваться как единое целое в эпоху Возрождения. Но историческая интерпретация прошлого — стремление проникнуть в его атмосферу и воссоздать ее как иную, не похожую на нынешнюю — во многом обязана своим происхождением романтикам. До XIX в. историки, условно говоря, изучали «*что было*» («на самом деле» или «не на самом деле»). Их занимала последовательность событий. В рамках романтического подхода историков начинает интересовать не «*что было*», а «*как это было*» (но, строго говоря, не «на самом деле»). Безусловно, романтики сознательно пытались создать именно *Другое* прошлое. Возражать против этого тезиса, ссылаясь, например, на то, что они не понимали, что «*другой*» была ментальность индивидов прошлого, значит переходить на позиции исторического анахронизма. Историки-романтики создавали эмоционально окрашенное, субъективное былое, отличное от настоящего, свободно и довольно равноправно используя описание и объяснение, воображение и вчувствование.

Очевидно, что исторически самые ранние и, конечно, не концептуализированные примеры обращения историков к техникам вчувствования, погружения, идентификации и другим подобным приемам конструирования прошлого использовались задолго до появления романтической историографии. Более всего они были связаны с попытками понять и объяснить мотивы действий исторических персонажей. Создание образа человека достигалось средствами, близкими к художественному творчеству, а выяснение мотивов поведения — с помощью обыденного суждения. Для проникновения в мир действующего субъекта историк неизбежно должен был полагаться на собственный опыт, в том числе и эмоциональный. Такой процесс вчувствования в чужую психологию («состояние души»), со-переживания обычно именуется эмпатией. Этот метод по сути распадается на две части — анализ собственных мыслей («переживаний») на основе самонаблюдения и умозрительное помещение себя «на место другого».

В историческом знании, внесенном романтиками, возникают *Другие*, более сложные, чем личность. Их появление связано с антропоморфизацией больших социальных общностей, таких как нация, народ, класс и с введением представления, которое С. Зенкин называет «социальной относительностью», определяемого

«осознанием того факта, что мышление и творчество неодинаковы даже в пределах одной современной нации, о чем свидетельствует сосуществование фольклора, высокой культуры и возникающей уже в то время массовой культуры в ее современном смысле» (Зенкин 2002: 13–14).

Социальным образованиям приписываются воля, характер, дух, ментальность — характеристики, которые познаются, в том числе и тем же способом, что и качества отдельного человека. Так *Другой* становится коллективным персонажем, как мы покажем далее, чаще всего — «составным». В исторических сочинениях романтиков обнаруживается множество примеров «вчувствования» в прошлое целых народов (стран).

Достаточно давно в описаниях прошлого существует пространственно *Другой*. Он тоже присутствует в двух лицах: в качестве исторического пространства — «Индия», «Восток» — и в виде чужеземцев, представителей этих «других миров».

В произведениях романтиков идея географической относительности раньше всего получает признание в форме более или менее поверхностного экзотизма, интереса к культурным отличиям народов.

Наконец, с XIX в. сами темпоральные структуры — эпохи, периоды — и приписанный им «дух времени» могут выступать как *Другие*. Так в знании о прошлом утверждается историческая относительность, характеризующаяся интересом не только к внешней «живописности», но и к философскому осмыслению содержания «неклассических» цивилизаций и эпох, которые, как говорил Л. фон Ранке, «стоят в равном отношении к Богу».

Соотношение настоящего и прошлого в романтической историографии намного сложнее, чем в стандартных интерпретациях, которые отводят романтикам место в прошлом, жестко связывая их с традицией и с ретро. Романтическая идея в исторических сочинениях никоим образом не сводится к культу прошлого. Культ прошлого ради прошлого — явление специфическое только для «консервативного» политического романтизма. Предметом интересов романтических историков являлась взаимосвязь настоящего с прошлым и будущим, и в этом они сродни философам йенской школы, для которых точкой соотнесения времен было настоящее — Новое время. Йенский романтизм характеризовался признанием таинственного взаимопроникновения воспоминания и предчувствия, прошлого и будущего. Например, у Новалиса о *возврате* в прошлое, кажется, никогда и нигде речь не заходит. В «Цветочной пыльце» (1798) он, в частности, писал: «Представления о далеком прошлом влекут нас к смерти, к исчезновению. Представления о будущем побуждают нас к жизни, к воплощению...»¹⁸.

Таким образом, романтическая программа историков формулируется как позитивное историческое творчество, поиски «эскиза для мира»¹⁹. Это касается, прежде всего, значимости настоящего. Даже когда речь идет

¹⁸ Novalis 1965 [1798]: 461.

¹⁹ См.: Карлейль 1994 [1843].

о ностальгии по прошлому, а речь о ней идет сплошь и рядом, у романтиков для этого легко обнаруживаются не только идеальные, но и актуальные причины:

«свои побудительные мотивы, религиозные или политические, свои фетиши — старый католицизм или мистицизм, конституционная монархия или коммунальная республика, национальная независимость или свобода демократии или аристократии» (*Кроче* 1998 [1917]: 161).

Если руины и привлекали романтиков «утонченным садизмом», как саркастически заметил Ортега-и-Гассет²⁰, то применительно к историкам это вовсе не означает, что они «жили в прошлом». Романтики стремились не вернуться в ушедшее прошлое, а пережить и переосмыслить прошлое в настоящем.

Романтики не просто отличались чувствительностью к настоящему (они ко всему были чувствительны), они были зависимы от настоящего. Об этом, в не меньшей мере чем известная эволюция, которую претерпели практически все представители йенской школы, свидетельствует и трансформация позиций многих историков-романтиков. Например, отношение Ж. Мишле к Средневековью менялось вместе с политическими перипетиями его времени. Начиная с работ 1830-х гг. и вплоть до смерти Мишле в 1874 г. Ле Гофф выявляет у него четыре абсолютно разных варианта интерпретации (оценки) Средневековья, что, по его мнению, связано именно с присущей Мишле манерой «читать и писать историю прошлого в свете истории настоящего»²¹.

«Между “июльской молнией” <1830 г. — И. С., А. П.> и мраком поражения Франции в войне с Пруссией образ Средневековья в представлении Мишле меняется под влиянием борьбы против клерикализма, разочарований провалившейся революции 1848 года, неприятия духа наживы Второй империи, отрезвляющего воздействия материализма и несправедливости зарождающегося индустриального общества» (*Ле Гофф* 2000 [1974]: 16).

Еще одной особенностью романтической конструкции времени является его обратимость и пластичность. Здесь романтикам предшествовал Гердер, который считал, что прошлое вполне возможно вернуть через прочтение, толкование, перевод, а потому его можно рассматривать как будущее: «— Пиши для умерших! Для ушедших, которых ты любишь. — Но прочтут ли они меня? — Да, когда вернутся как твои потомки»²².

²⁰ Ортега-и-Гассет 1991 [1930]: 328.

²¹ Ле Гофф 2000 [1974]: 16—17.

²² Цит. по: Дубин 2002: 15.

Главная же причуда исторического времени романтизма состоит не в отношениях прошлого и будущего, а в отношениях возможного и действительного. Для романтиков возможное соотносится не с прошлым и не с будущим, а с действительным, и постоянно опережает его. Если любое явление настоящего они рассматривали с позиций его возможного совершенствования или преобразования, то уж тем более «невидимые» события прошлого становились материалом для исторического переустройства.

Открытие прошлого в XIX в. внешне напоминало то, что происходило в эпоху Ренессанса, а восхищение романтиков прошлым походило на чувство мыслителей Возрождения по отношению к античности. Однако, как отмечал Колингвуд, между гуманистами Возрождения и романтиками в отношении к прошлому существовало глубокое различие. Первые

«презирали прошлое как таковое, но рассматривали некоторые его факты как приподнятые над потоком времени, так сказать, очистившиеся от него, в силу внутренне присущего им совершенства, что и делало их классическими или вечными образцами для подражания» (Колингвуд 1980 [1946]: 85—86).

Проще говоря, для гуманистов в качестве образца существовала одна античность. Для романтиков все прошлое было «становлением» настоящего, настоящее же подлежало переделке не потому, что оно «ниже» или «хуже» прошлого, а потому, что переделка — это и есть проявление «творения». Так все прошлое становилось значимым, все эпохи «равными».

«Немного было в истории мысли более глубоких и более важных изменений в представлениях о ценностях чем случившееся тогда,... когда начала крепнуть уверенность, что не только многие (или все) этапы человеческой жизни обладают различными преимуществами, но что разнообразие само по себе есть нечто превосходное» (Лавджой 2001 [1936]: 301).

При этом надо сказать, что античность и для романтиков оставалась «более равной». Такой конденсации знаний об античности, как в романтическом XIX в., мы не обнаружим более нигде. Другое дело, что историки-романтики «дополнили» античность картинами других эпох, прежде всего, Средневековья. Романтики были внимательны и к истории Нового времени. (Этот же подход, кстати, отличает и романтическое искусство. Если архитектура Ренессанса имитировала классическую античность, то конец XVIII — начало XIX в. наряду с непреходящей любовью к античности отмечены возрождением готики, а затем и других художественных стилей).

Поскольку с приходом историков-романтиков прошлое — причем всё, а не только «избранные места» — не отвергается, а почитается как исток настоящего, в историографии начинается инвентаризация разного прошлого. Тематика работ и выбор исторических периодов очень разнообра-

жен. Среди историков-романтиков — Г. Лео с его отчетливым интересом к всемирной истории и А.-Г.-П де Барант, увлеченный Средними веками, Карлейль с исследованиями по истории революций, знаменующих наступление Нового времени, и французские историки с теорией «расово-классовой» борьбы. Правильнее говорить, что романтики, руководствуясь индивидуальными предпочтениями, выбирали в прошлом «любимую эпоху». Для большинства французских романтиков таковой было Средневековье, для йенских романтиков — поздняя античность, а для кого-то — Новое время. В результате в период доминирования романтической историографии и возникли «лики» исторических эпох (античности, эллинизма, Средневековья, Ренессанса и Реформации).

Но все же Средневековье стоит особняком в сочинениях романтической историографии. Прежде всего, Средние века выступали как идеал утраченной целостности, органического религиозного единства, которое предстоит вновь обрести. Так, в статье Новалиса «Христианство или Европа» (1799, опубл. 1826), о которой В. Жирмунский писал, что в ней «всего полнее и глубже... выражена романтическая философия истории»²³, счастливыми временами называются века, когда вся Европа представляла собой единую христианскую страну, всеми политическими силами управляла единая власть в лице Христианской церкви и духовенство руководило духовной жизнью людей.

Большой удельный вес сочинений по средневековой истории в XIX в. объясняется, в частности, и тем, что в этой области открывалось гигантское новое поле для исследований: средневековую историю надо было создать фактически заново. Конечно, и античная история к началу XIX в. была представлена не столь уж широко, но все же она была более целостна, обозрима и обеспечена известными к тому времени источниками.

Далее, время историков-романтиков — это период возникновения национальных государств, время наполнения прошлого национальным содержанием. Именно перед представителями исторического романтизма встала задача создания национальной истории, а национальная история большинства европейских стран была именно средневековой.

Еще один важный источник, которым вдохновлялась романтическая историография — Восток как он представал в античной и средневековой традиции. Предшественника такого известного направления как романтический ориентализм можно усмотреть, например, в многочисленных средневековых описаниях чудесных стран, обобщенных понятием «Индия».

Наконец, историческая «фактура» Средневековья — просто кладезь для романтического мировосприятия. Эстетизация чудесного — очень

²³ Жирмунский 1996 [1914]: 125.

мощная составляющая в романтической конструкции прошлого. Одним из важных источников вдохновения для романтиков были таинственные сюжеты прошлого, *mirabilis* и соответствующие интерпретации. Проницаемость границ сакрального и профанного, вмещательство трансцендентных субъектов в события истории, мир чудес и чудищ — все это позволяло создавать образ прошлого как таинственного *Другого* с помощью сильно действующих на воображение читателей художественных средств. Невидимые чары, колдовство, проклятие, мир Дьявола — такова лексика многих исторических сочинений, написанных в романтическом ключе²⁴. Точно так же возникшие в эпоху Ренессанса для объяснения хода истории понятия рока, фортуны, Провидения, доблести были как будто созданы для романтизации прошлого и, конечно, они были «присвоены» романтиками.

Перечисленных причин было вполне достаточно (хотя имелись и другие), чтобы

«вся Европа или ее отдельные нации вдруг прониклись любовью к рыцарской и монастырской жизни, крестовым походам, Гогенштауфенам, ломбардским и фламандским коммунам, христианским королевствам Испании, ведущим войну с маврами, и самим маврам, и Англии, поделенной саксами и норманнами, и Швейцарии времен Вильгельма Телля, и Chansons de geste <эпическим поэмам — фр.>, и песням трубадуров, и готической архитектуре...» (Кроче 1998 [1917]: 160).

Поскольку историки-романтики не применяли к истории критериев «разумности», «прогрессивности», «целесообразности», Средневековье в их трудах оказалось реабилитированным, а во многих отношениях действительно оцененным выше настоящего и не ниже античности.

Методы

Создание картины прошлого требовало сбора, упорядочения и издания огромного количества источников. Важную роль в обеспечении источниковой базы сыграл существовавший в то время альянс представителей двух областей знания, основным материалом для которых являются тексты: филологии и истории. Публикации романтиков — литераторов и литературоведов — оказали бесценную услугу историческим исследованиям, они обогатили представления об отличиях разных периодов и расширили горизонты проницаемого времени.

Если Возрождение античности произошло в Италии, то Возрождение Средних веков началось в Англии XVIII в. Здесь впервые была произведена

²⁴ Карлейль 1994 [1843]: 201.

переоценка понятия «готический», «средневековый», зародился интерес к средневековым памятникам, старинной письменности и языку, к народной поэзии и литературе Средневековья. Из Англии восхищение Средневековьем перекинулось в Германию эпохи «Бури и натиска», а после поражения революции и во Францию. Время романтиков стало периодом интенсивной работы, в том числе организованной на уровне или с привлечением государства, по поиску, классификации и публикации источников по национальной истории. Романтики не только оценили монументальные собрания средневековых документов, созданные их предшественниками в XVII—XVIII вв., но и много сил отдавали сбору и изданию новых источников.

Эмпирический материал в романтической историографии работал на идею эстетизации прошлой реальности. Этим во многом объясняется большое значение риторики у романтиков: использование выразительных средств, выбор ярких фактов и деталей. Можно привести бесчисленные доказательства того, как много сил тратили историки-романтики на создание образа прошлого, вплоть до тончайших стилистических ухищрений. Одним из крайних случаев является «История герцогов Бургундских» (1824) А.-Г.-П. де Баранта, которая просто написана в форме хроники: метод, план, язык, характер образов и сцен — все стилизовано под хронику.

Историки-романтики пытались достичь объяснительного эффекта, выстраивая сюжет (романа). Большинство из них не только мастерски сочиняли сюжет²⁵ и развивали интригу истории, они прекрасно владели художественными средствами, придавая исторической работе форму литературного произведения. Во многих сочинениях мы обнаруживаем характерный для исторического романа принцип исторического единства, предполагающий единство процесса, единый смысл и плавное повествование, не нарушаемое репрезентацией источников. Особенно прямолинейную позицию по отношению к источнику занимал тот же Барант, который декларировал намерение не быть посредником между средневековыми хрониками и своими читателями. На романтиков-историков огромное влияние оказал Вальтер Скотт. Не случайно Ранке, не избежавший в молодости его воздействия, сознательно боролся с любыми проявлениями «скоттства» в своих работах.

Способность романтиков писать историю языком беллетриста, не превращаясь при этом в литератора, а наоборот, совершенствуя ремесло историка, высоко оценил В. Белинский:

²⁵ При этом, как замечает Х. Уайт, использование романического сюжета романтиками не рефлексировалось. «Представление о том, что сами историки строят сюжет на основе событий, обнаруженных в документах, только неявно мелькнуло среди мыслителей, чувствительных к поэтическому элементу в попытках повествовательного описания, например, у такого историка, как И.Г. Дройзен, и у таких философов, как Гегель и Ницше... Для большинства историков XIX века было оскорбительным допустить, что историк строит сюжет для своих историй» (Yaüm 2002 [1973]: 172).

«Читая “Историю завоевания Англии норманнами” Огюстена Тьерри, как его же “Рассказы о временах меровингских”, думаешь, что читаешь роман Вальтера Скотта; а между тем в этих сочинениях знаменитого французского историка нет ни одной черты, которая не основывалась бы на фактах и не подтверждалась бы хрониками; но и те, которым коротко и ученым образом знакомы были эти хроники, в творениях Тьерри впервые познакомились с той и другой эпохой, удивляясь, что в этих творениях могло оказаться столько жизни, поэзии и разумности» (*Белинский*; цит. по: *Далин* 1981: 15—16).

В романтических «Историях» велика роль эмоции самого автора и отчетливо стремление к эмоциональному воздействию на читателя, которого надо не только убедить, но и настроить. Карлейль, крупнейший историк своего времени, представитель романтического направления в английской историографии, может быть, больше чем любой писатель XIX в. верил в возможность интуитивного воссоздания истории, и, по его мнению, цель историка состояла в том числе и в пробуждении чувств читателя: «Пусть читатель заставит поработать собственное воображение»²⁶, — писал он. Для создания картины прошлого Карлейль мобилизовал художественные средства и добивался редкого по силе эпического звучания, воздействовавшего на читателей-современников (хотя сегодня его сочинения трудно назвать хорошей историей, их все еще можно признать хорошей литературой).

Историописание романтиков, так же как и искусство, преображало прошлое, равно как и настоящее, представляя его странным и все же знакомым. В этом историки следовали Новалису, который писал:

«Придавая вещам обыденным высший смысл, вещам привычным — обаяние таинственности, известным — достоинство неизвестного, конечному — видимость бесконечного, — я романтизирую их» (*Новалис* 1998 [1798]: 302—303).

Соответственно, главная черта романтической историографии в духе этого же мировоззрения — сознательная установка на преображение прошлого. Это можно назвать «заколдовыванием мира» в ответ на его «расколдовывание» мыслителями Просвещения. Акт «колдовства» предполагает, конечно, примат чувств и интуиции над разумом, мистицизм и всяческое другое своеволие, несовместимое с аналитическим подходом. Впрочем, например, и Тьерри, и Мишле считали иррациональные техники вполне совместимыми с *научным* статусом истории.

Романтики начали использовать прием, который позднее называли «вчувствованием», создавая с помощью описания соответствующую «историческую обстановку» (исторические костюмы, замки, пейзажи) и ста-

²⁶ *Карлейль* 1991 [1837]: 481.

раясь поместить себя и читателя в эти обстоятельства. Романтическая школа выработала собственный исторический метод — погружение, переживание исторических событий как событий собственной жизни. Дух нации романтики тоже пытались познать методом *вживания* или *вчувствования* в далекое прошлое.

Согласно удачно придуманному Мишле для себя неологизму, который после него не осмеливались применять, он стал «воскресителем» (*resusciter*)²⁷. В длинном послесловии ко второму тому «Истории Франции» Мишле писал:

«Большую часть того, что написано в этом томе, я извлек из Национальных архивов. В тиши переходов я вскоре стал улавливать некое дуновение, ропот, и это не был голос смерти... Все живы и небессловесны... И по мере того, как я сдувал с них пыль, я видел, как они поднимались. Из гробниц тянулись их руки, головы, как в “Страшном суде” Микеланджело или “Пляске смерти”» (*Мишле*; цит. по: *Ле Гофф* 2000 [1974]: 14).

Читатель тоже должен был «вчувствоваться» в предлагаемые обстоятельства. Интересно, что если историк-романтик уподоблял себя Вальтеру Скотту лишь в области подачи исторического материала, то его адресат практически не отличался по своему восприятию от читателя исторического романа, или, точнее, отличался только знанием того, что перед ним произведение историка, а не литератора.

В противовес идеологам Просвещения, верившим в полную открытость истории для разума, романтики ввели в историописание понятия красоты как высшей реальности, исторической тайны, молчания. Историк-романтик не особенно заботился о достоверности, а еще менее — об объяснении событий. Ф. Шлегель в качестве одного из основных правил исторического исследования выдвигал принцип: «Не нужно все объяснять». Карлейль утверждал, что ему не требуется слишком погружаться в источники, чтобы отчетливо увидеть прошлое, растворенное в дымке веков. При этом, например, Карлейль, слава которого в литературных кругах, возможно, затмевала его славу историка, приступая к написанию «Французской революции», изучил гору документов в библиотеке Британского музея в Лондоне, но их следов не найти в его сочинении, потому что ссылки и цитаты нарушили бы литературную композицию. Надо сказать, что его сочинение о Французской революции демонстрирует все огрехи, связанные со столь вольным обращением с документами.

Вместе с тем, из общей идеи, настроения у историков-романтиков вытекало в конечном счете объяснение прошлой реальности. Арсенал

²⁷ *Ле Гофф* 2000 [1974]: 14.

приемов конструирования прошлого в романтической историографии с самого начала соотносился с задачами достижения «исторической истины». Историки-романтики, конечно, считали интуицию и воображение более надежными способами познания прошлого, но не могли ограничиваться только ими. Романтик, создающий конструкции прошлого на основе воображения, по мере возможностей рационален, он стремится дисциплинировать свои озарения не только потому, что цель его — создание «правильной» картины прошлого, но и потому, что, как замечает Б. Дубин, автор ориентирован на соучастие читателя²⁸.

Чтобы научиться читать между строками хроники, требовалось не только воображение, но и знание источников, равно как и общая историческая эрудиция. Культ эмоций, художественных приемов и техник «вчувствования» в романтическом направлении историографии совмещался с растущим интересом к документам и интенсивным развитием методов источниковедческого анализа. Так, О. Тьерри, подобно другим историкам романтического направления считал, что только с помощью воображения историк способен реконструировать события (он даже говорил: сцены) прошлого. Тем не менее, когда в 1820 г. Тьерри начал систематическое изучение источников по французской истории, его «охватил гнев», вызванный обращением историков с документальными материалами. По мере погружения в архивы он понимал, что его «истинное призвание состояло не только в том, чтобы осветить некоторые темные углы Средневековья, но и в том, чтобы «поднять знамя исторической реформы во Франции»²⁹.

Еще одной важной новацией в романтической конструкции прошлого стало появление коллективного исторического героя. У романтиков народ, нация играют роль главного субъекта истории. Концептуализацией прошлого как истории всех людей (народов, классов, сословий) романтики тоже отличались от предшествующей традиции, в которой воспроизводились действия «исторических» личностей, ведущих персонажей прошлого. Национальные истории, которые начали создаваться как раз в то время и именно романтиками, писались как истории народов. С одной стороны, это было связано с осознанием роли масс, прежде всего в недавней и продолжающейся разворачиваться на глазах истории революций и войн, и с экстраполяцией этой роли на предшествующие периоды истории. С другой стороны, для появления коллективного героя существовала и более общая причина: процессы демократизации европейского общества. Важным обстоятельством в появлении нового субъекта истории были и моральные соображения того времени, сентиментальные и демократи-

²⁸ Дубин 2002: 11.

²⁹ Thierry 1836 [1820]: XII.

ческие одновременно, состоявшие в убеждении, что историк должен руководствоваться сочувствием к народу (народам).

Программа создания «истории низов» была, в частности, концептуализирована О. Тьерри еще в первом из его «Писем об истории Франции»:

«История Франции, как ее до сих пор излагали, не является подлинной историей страны, ни национальной, ни народной историей... Лучшая часть наших анналов, самая трудная, самая поучительная, должна быть еще написана; нам еще не хватает истории граждан, истории подданных, истории народа. Историческую авансцену занимает только кучка привилегированных лиц, только о ней нам рассказывают, а между тем... прогресс народных масс в сторону свободы и благосостояния кажется нам гораздо более важным чем действия завоевателей, и их несчастья куда более трогательными чем бедствия королей, лишившихся короны... Я глубоко убежден, что у нас до сих пор нет истории Франции...» (Thierry 1836 [1820]: 275—276).

Романтиками было введено понятие «самая забытая часть нации» (Тьерри) и осознана потребность в их «воскрешении». В XX в. появились новые «забытые» (женщины, например), но, кстати, и о женщинах романтики немало написали³⁰.

Французские историки-романтики «вчувствовались» в прошлое целых народов, и в самом историческом нарративе они давали разнообразные социальные портреты, т. е. описывали множество разных людей или скорее групп: крестьян, торговцев, пиратов, рыцарей, монахов, горожан, солдат и т. д. Таков, например, народ в изображении Тьерри:

«Одни пели под звук кельтских арф, ожидая возвращения Артура; другие плыли по бурному морю с тою же беспечностью, с какой лебеди плещутся на озере; третьи в опьянении победы собирали груды добычи, отнятой у побежденных, измеряя веревкою землю, чтобы разделить ее между собою, считая и пересчитывая семьи поголовно, как скот; наконец те, которых одно поражение сразу лишило всего, ради чего стоит жить, покорно смотрели как чужеземец садится хозяином у их собственного очага, или, в неистовстве отчаяния, бежали в леса и жили там, как живут волки, разбойничая, убивая, но оставаясь свободными» (Thierry 1836 [1834]: XXI).

Не можем удержаться от сравнения этого пассажа почти двухвековой давности с постмодернистской картинкой французского писателя Р. Кено:

«<Историческая> Обстановка была, прямо сказать, черт знает какая. Там и сям виднелись остатки исторического прошлого, все вперемешку. На берегах бли-

³⁰ См. главу «Восстание женщин» в книге о Великой французской революции у Карлейля (Карлейль 1991 [1837]) или работу «Ведьма» Мишле (Мишле 1997 [1862]).

жайшей речушки разбили вдребезги лагерь двое гуннов; неподалеку от них какой-то галл, вернее всего эдуэц, бесстрашно вымачивал ноги в холодной проточной воде. На горизонте смутно маячили силуэты старообразных римлян, старозаветных сарацинов, старорежимных аланов и старых франков. Было и несколько нормандцев — те попивали кальвадос... Гунны готовили гуляш под соусом “тартарары”; галл за отсутствием галлок считал ворон; римляне ваяли греческие статуи; сарацины разучивали сарабанду; франки искали отложения солей; аланы уподоблялись осетинам. Нормандцы попивали кальвадос» (*Кено* 1994 [1965]: 8—9).

У Кено впечатление картины создает эффект одновременного присутствия персонажей разных эпох — «смешение времен», а у Тьерри впечатление единого исторического полотна возникает в результате описания действий разных людей, объединенных единым событием — «смешение людей».

Однако создание впечатляющей и яркой картины прошлого, того что Ф. Гизо называл «физиогномистикой» в историческом исследовании, составляло лишь одну из задач историка-романтика. Эту задачу можно определить как достижение эффекта правдоподобия. Другой задачей являлось постижение устройства общества и его «генетики», формулирование законов, которые определяют ход событий («физиология общества» по Гизо). Поэтому в романтической историографии одновременно с интенцией создать «групповой портрет» нации, на котором прописаны фигуры известных и «типичных» людей, присутствует и противоположная тенденция. Нации генерализуются и начинают рассматриваться как действующие субъекты.

Такая метаморфоза, к примеру, случилась с Францией у Мишле. Уже во «Введении во всеобщую историю» Франция предстает как главный герой всемирной исторической драмы борьбы за свободу. Впоследствии в 17-томной «Истории Франции» Франция окончательно антропоморфизуется и становится персоной истории; общность начинает описываться как личность. Причем это касается не только риторики, но и анализа.

Генерализация и антропоморфизация больших социальных общностей, казалось бы, противоречащая сути романтического подхода, была вызвана поисками объясняющих моделей национальной истории. Этот процесс, инициированный романтической историографией, оказался востребованным и имел продолжение в исторической науке последующего периода в связи с развитием расовых и классовых теорий. Речь идет о том, что усилиями историков-романтиков за сравнительно короткий период были созданы истории наций и истории классов и разработаны модели конструирования прошлого с помощью простых формул расовой и классовой борьбы. Строго говоря, эти модели никакого отношения к технике вчувствования не имеют и характеризуют аналитическую сторону исторического труда.

Одна из первых статей Тьерри, посвященная истории Франции, называлась «О враждебности рас, которая разделяет французскую нацию» (1820). Идея расовой вражды, заимствованная у Сен-Симона, получила дальнейшее развитие в одной из основных работ Тьерри «Завоевание Англии норманнами» (1825), которая построена вокруг выявления основного, по мнению Тьерри, конфликта в английской истории: между победителями-норманнами и побежденными-англосаксами. Английскую революцию XVII в. он рассматривал как завершение этого конфликта, «реванш» побежденных. Расовый конфликт, в свою очередь, выполнял роль гипотезы, объясняющей происхождение классов, которые являются ничем иным как потомками завоевателей и завоеванных. Высшие классы — потомки победителей, потомки побежденных — горожане и сервы.

Такие родовые черты романтизма как идеализм, духовность, вера, мистицизм не могли не произвести переворота в трактовке исторической личности. В романтической историографии проявляется способность к индивидуализации, к восприятию конкретного лица, душевного состояния. Историческая биография в романтическом направлении обрела новую установку: рассматривать чувства и поступки индивида в свете его миссии или идеи, которую он воплощает. И хотя романтики выступили против того, чтобы ограничивать историю лишь биографией королей, они время от времени признавали, что все же история королей имеет большее значение, чем история плотников (Барант), так как связана с более широким кругом явлений.

«История не учит», так как ничто не повторяется — это известный тезис романтиков. Но историк «учит». И Барант, и Мишле, и Карлейль предполагали, что любая «История» должна содержать «поучение». «Из всех Библий ужаснее всего не верить в “Библию всеобщей истории”»³¹, — говорил Карлейль, который вообще был моралистом, почитаемым всей Англией. В то время как английские историки — виги и тори — обращались к истории для легитимизации своих политических убеждений, Карлейль (шотландский кальвинист) использовал ее для пропаганды этических воззрений и пытался, опираясь на примеры прошлого, заложить общие принципы человеческого поведения.

Итак, основными отличительными методами интуитивистского способа конструирования социальной реальности прошлого в романтической историографии стали: вчувствование, воображение; интерес и доверие к документам; создание колорита эпохи; построение исторического нарратива как романа, использование риторических приемов, характерных для художественной литературы. Но главное в наследии романтизма, с точки

³¹ Карлейль 1994 [1843]: 273.

зрения последующего развития исторического знания, не статус реальности и не техники вчувствования, а идея развития. Романтики утвердили в историографии метод историзма, постулировавший генетический подход ко всем социальным явлениям.

Историзм

В романтизме идея развития становится центральным философским понятием и интеллектуальным стержнем и искусства, и общественной мысли, и историографии. Начиная с конца XVIII в. этот подход условно уже можно обозначить как историзм. Историзм (*нем.* Historismus) — это принцип мышления, в основе которого лежит представление о постепенном «органическом» развитии любого явления и о каждом этапе в истории как определенном и необходимом звене в историческом процессе. Ядром историзма, согласно формулировке одного из ведущих специалистов по этой проблеме Ф. Майнеке, является замена генерализирующего рассмотрения того, как действуют исторические и человеческие силы, рассмотрением индивидуализирующим³².

Реакция на «неисторическое мышление» периода Французской революции (когда, в частности, были уничтожены многие архивы)³³ и ее «историческую» политическую практику (когда социальная реальность изменялась непрерывно) дала импульс к более глубокому пониманию историчности, истоков происходящего. Принцип историзма подразумевает, что не только прошлое, но и институты и культура современности могут быть поняты только исторически. Для того, кто не имеет представления об их развитии в предшествующие века, их природа остается непостижимой. И наоборот, историческая проекция какого-либо явления сама по себе уже служила доказательством той или иной интерпретации. «Автор какой-нибудь физической системы несомненно аплодировал бы себе, если бы в его пользу говорили все данные природы. Я же могу привести в подтверждение своих размышлений все данные истории», — писал де Местр³⁴.

Романтики — историки по призванию, узаконив историзм, они создали историю языка, права, культуры, искусства, литературы, написали обзоры эпох. В эпоху романтизма снова играли большую роль филология и право, тесно переплетенные между собой. Правовед Ф. Савиньи, который преподавал в Берлине, рассматривал становление права исторически, по аналогии с развитием языка, а учеником Савиньи был Я. Гримм, став-

³² Meineke 1946 [1936]: 2.

³³ Кстати, не кто иной как Кондорсе назвал архивы аристократов «местами тщеславия» и предложил Конвенту уничтожить их (Matsuda 1996: 76).

³⁴ Местр 1997 [1797]: 100.

ший впоследствии выдающимся филологом. Именно в так называемых немецких «исторических школах» филологии и права с наибольшей последовательностью была разработана романтическая идея историзма. (Для того чтобы отличать немецкие «исторические школы» от собственно исторических школ — гейдельбергской и берлинской (школа Ранке) — представители которых занимались историей, но как раз не были романтиками, мы будем использовать кавычки.) В Германии именно «исторические школы», то есть не-исторические в точном смысле слова, объединяли самых известных представителей романтизма.

В рамках романтизма возникло, а затем прочно утвердилось в научной историографии, направление историко-филологического анализа и сформировался особый тип историка-филолога. Историзм как метод познания утвердился в мифологической школе, представленной йенскими (Ф. В. Шеллинг, А. и Ф. Шлегели) и гейдельбергскими (Л. А. фон Арним, К. Brentano, братья Я. и В. Гримм) романтиками. Создателями этой школы были заложены основы сравнительно-исторического изучения мифологии, фольклора и литературы.

Немецкая «историческая школа права» также пыталась конструировать прошлое на основе принципа исторической преемственности. Учения государствоведов Ф. Савиньи, К. Эйхгорна и других оказали сильное влияние на историографию первой половины XIX в. своими четкими формулировками концепции органической связи и преемственности в развитии народа и государства, идеи нации как «коллективной индивидуальности», идеи народного духа как главной творческой силы в истории.

Последователи историзма утверждали, что для того, чтобы один век мог понять другой, необходимо признать, что по прошествии времени фундаментально изменились и условия жизни, и сознание субъектов истории, и, возможно, даже сама человеческая природа. Необходимо усилие воображения для того, чтобы отодвинуть ценности сегодняшнего дня и увидеть предшествующий век изнутри. Но историзм заключал в себе больше чем просто призыв изучать былое в его самобытности. Романтики, обращая внимание на исторические корни и преемственность, отличались тем, что акцентировали *развитие*, становление. Иными словами, их занимало как из прошлого выросло настоящее. Идея развития распространялась и на классическую античность, и на восточные культуры, и даже на «ненавистный» XVIII в.

Романтики ввели в познание прошлого и принцип *органицизма*. Следование этому принципу, в частности, предполагало, что идея органического развития не допускает аналогий (поэтому «история не учит»). Ситуация XV в. только внешне может напоминать ситуацию века XIX. Никаких поучений из подобного сходства извлечь нельзя, а можно только понять

явление в развитии. Идея исторического становления лежит в основе понятия *эпохи*, в рамках которой все общественные явления тесно связаны одно с другим и могут быть поняты только во взаимной обусловленности. Именно романтики заявили, что нельзя изучать философию без политики, право без истории, историю без литературы и т. д. И их сочинения — лучшее свидетельство применения этого принципа на практике.

Понятия *развития* и *органицизма* (соединенного со своеобразным представлением об исторической общности) являются главными для выяснения понятийно-философских основ романтизма. Выражением органицизма у романтиков является идея народного духа и его органического проявления. «Национальность», «народный дух» приходят на смену «человечеству», «всеобщему разуму» и другим общим идеям XVIII в. Историография того времени была преимущественно политической, и выбор историками-романтиками в качестве основных предметов исследования государства и нации способствовал тому, что базовые принципы историзма разрабатывались прежде всего применительно к истории отдельных стран, их права и государственных институтов. Историки-романтики сформулировали проблемы традиции и преемственности как факторов, обеспечивающих развитие национальных государств. В этом смысле романтики первыми предприняли национализацию истории. Процессы формирования национальной идентичности, объединительные и освободительные движения в Европе мобилизовали глубокую потребность в романтизме с его мотивом человеческой свободы и неограниченного исторического творчества.

3. Наследие романтиков

Если «приход» романтизма датируется очень четко, то «уход» его размазан во времени. В философии романтизм сходит на нет уже в поздних работах представителей йенской школы. В историографии романтиков в середине XIX в. начинает вытеснять немецкая историческая школа (без кавычек!). Ее иногда называют «высшим проявлением романтизма», но это неверно, будет точнее охарактеризовать ее как «высшее проявление историзма» того времени. В искусстве, наоборот, романтизм задерживается намного дольше, его представители сосуществуют с реалистической школой, символическими и другими более поздними направлениями. Есть даже концепция «долгого романтизма», по крайней мере в современной литературоведческой французской традиции, в которой такие течения как реализм, символизм, натурализм рассматриваются как исторические варианты «большого романтизма»³⁵.

³⁵ Зенкин 2002: 6.

Романтическое наследие включает набор ценностей, которые до сих пор вдохновляют индивидуальные и коллективные действия и определенный стиль жизни, привлекательный для интеллектуалов, представителей искусства и молодежи³⁶. После 1830-х гг. романтики позиционировали себя как врагов всего плоского, шаблонного, пошлого, мещанского, позднее обобщенного как «буржуазное», и многие последующие радикальные движения заимствовали их «антибуржуазный» пафос. Романтические ритуалы и символику с успехом использовали также самые разные политические режимы, и особенно тоталитарные.

Что же касается романтической историографии, то она оказалась органично включенной в последующее развитие исторического знания. Многие новации, введенные историками-романтиками, остаются опорными методологическими принципами исторических исследований по сей день. Однако они преобразованы и инкорпорированы в аналитические конструкции прошлого, и в исторической науке, в отличие, например, от искусства, со второй половины XIX в. мы не обнаруживаем сколько-нибудь значимых прямых наследников интуитивистского подхода.

Сам по себе интуитивистский способ конструирования социальной реальности прошлого оказался тупиковым направлением, и «век романтизма» был крайне короток по меркам жизненного цикла исторических школ. Размышляя над причинами столь быстрого ухода со сцены необыкновенно продуктивного и популярного направления, мы приходим к выводу, что основной причиной провала романтического исторического проекта явилось то, что романтики одновременно и форсировали, и тормозили процесс формирования исторического знания.

Понятие «история» существует в трех значениях: в значении «текста», в значении «реальности» и в значении «знания», и вплоть до современности преобладающее значение истории — это история-текст (литературный жанр). Однако с началом Нового времени постепенно разворачивается процесс вытеснения истории в значении «текста» историей в значении «знания». В этом процессе к моменту появления романтизма решающими были два этапа. Первый датируется серединой XVI в., когда начались интенсивные размышления об историческом методе и появились десятки трактатов, посвященных этой теме. Следующий период относится ко второй половине XVIII в., когда усилиями мавристов (французских бенедиктинцев конгрегации св. Мавра) была разработана непревзойденная и поныне техника критики источников и созданы вспомогательные исторические дисциплины.

На фоне этой тенденции, прерванной приходом романтиков, их подход, связанный с опорой на воображение и предлагающий читателю прежде все-

³⁶ Cantor 1969: 273.

го историю-текст (причем с нарушением даже предшествующих законов этого литературного жанра, требовавших от создателей историй строгости и четкости стиля), следует признать шагом в сторону или, точнее, продуктивным отклонением в развитии исторического знания. Усилиями историков-романтиков знание о прошлом было выведено за пределы формирующегося научного знания. И если их творчество находилось в полном соответствии с духом романтизма, то оно совершенно не корреспондировало с господствующей в Новое время формой научного, точнее — естественно-научного знания. Возможно, поэтому господство романтизма в историографии оказалось недолговечным, хотя очень мощным и публичным.

Уже в середине XIX в. мы наблюдаем довольно быстрый переход от техник художественного воспроизведения картины прошлого, мобилизующих эмоции читателя, к созданию аналитических конструкций системы социальной реальности, модельных или нарративных, в рамках или на фоне которых историки решали конкретные исследовательские задачи. Прошлое уже не считалось возможным вернуть через прочтение и толкование. Разговоры о «сотворении» или «воскрешении» сменились сухими и вполне научными рассуждениями об объективности репрезентации или реконструкции.

Собственно, уже в «эпоху романтизма» многие из новаций, специфических для романтиков, разрабатывались и воплощались не только ими, но и крупными историками аналитического, в нашей терминологии, направления, которые творили в то время. Первая половина XIX в., на которую приходится пик популярности романтического историописания, на самом деле характеризуется достаточно разными тенденциями в историографии. Во Франции наряду с романтиками сформировалась группа историков, которых «анатомия и физиология» истории интересовала гораздо больше, чем форма изложения. Ф. Гизо, Ф. Минье, А. Тьер принадлежали к так называемой политической школе и акцентировали детерминистский подход к прошлому, считая, что завоевания, революции и другие масштабные исторические явления развиваются во все века по одним и тем же законам (конечно, не имеющим столь абсолютный характер, как физические). Правда, форма их сочинений во многом отвечала стандартам эстетики романтизма, что и создает сложности в их дефиниции (хотя, например, Гизо, которого очень часто также относят к романтикам, не владел искусством художественного воплощения прошлого).

Сходная проблема существует и с определением отдельных английских историков. Например, Т. Маколей писал столь же выразительно, как романтики, но в целом совершенно не разделял романтические подходы к истории. А хорошо известные подтасовки и натяжки в его работах объяснялись отнюдь не стремлением к художественной целостности, а сугубо политическими мотивами.

Особый случай представляют немецкие историки. В Германии практически одновременно с романтической историографией (или чуть позже) развивались и другие исторические школы, причем гораздо более известные, чем немецкая «нарративная романтическая» школа. Это прежде всего либеральная гейдельбергская (Ф.К. Шлоссер) и консервативная берлинская (Л. фон Ранке) школы. Немецкие исторические школы первой половины XIX в., противопоставляя свой подход романтизму, тем не менее сделали историзм основополагающим принципом исследований, но при этом минимизировали «издержки» романтизма (мистицизм, сентиментализм, художественную риторику) и в большей степени дистанцировались от образцов художественной прозы романтиков. В результате немецкая историография раньше других национальных европейских школ пришла к «научной» форме репрезентации прошлого.

Тем не менее, до сих пор некоторых представителей этих школ, включая даже Л. фон Ранке, тоже причисляют к романтикам. Это и не удивительно: в двух весьма разных направлениях историографии присутствуют важные общие элементы: историзм, концептуализация понятий народа и нации, интерес к Средним векам. Однако в трудах историков гейдельбергской школы и школы Л. фон Ранке те же концепты и темы получили уже другое выражение, были очищены от литературной риторики и излишней эмоциональности. Более того, представители ранкеанской тенденции разрабатывали свои методологические принципы, полемизируя с романтиками. Уже в предисловии к работе «История латинских и германских народов с 1494 по 1514» (1824) Ранке декларировал, что «задача исторического труда состоит в точной презентации фактов», что правда интереснее любого вымысла, и поставил себе целью избегать всякого вымысла и игры воображения³⁷. И, наконец, там же великий Ранке формулирует задачу истории в классических словах: показывать «как это было на самом деле». Эта фраза на немецком — *ragole* историков, они знают ее на память наряду с расхожими латинскими афоризмами.

Если немецкие исторические школы смогли достаточно плавно перейти на позиции позитивизма, то это случилось потому, что процессы романтизации и историзации прошлого и превращения истории в науку шли практически синхронно. В результате представители немецких исторических школ, чьими трудами преимущественно и был произведен переворот в характере исторического знания, не испытали видимых трудностей, синтезируя наработки романтизма с ориентациями на аналитические методы познания. Благодаря этому, со второй половины XIX в. начинается становление научной истории с опорой, прежде всего, на позитивистский подход к проблематике социальной реальности.

³⁷ Ranke 1957 [1824]: 10.

Стремление следовать научной парадигме позволило немецким историческим школам во второй половине XIX в. занять лидирующие позиции в историческом знании, вписаться в позитивистскую конструкцию и стать признанным «образцом» западно-европейской историографии, который сознательно выбирали для себя другие национальные школы (русская, американская и т. д.). Одновременно в работах немецких историков развивалась совсем иная культура исторического труда. Если романтики, хорошо зная документальные материалы, не ссылались на источники, чтобы не нарушать романский жанр повествования, то в немецких исторических школах, напротив, подробный и даже тяжеловесный справочный аппарат становится одним из главных показателей владения ремеслом историка. Требования, предъявляемые к историческому исследованию, распространялись на оформление справочно-библиографического аппарата, содержание и структуру исторических журналов и т. д., благодаря чему мы сегодня имеем все тот же стандарт научного аппарата исследования, которому должно соответствовать историческое произведение.

Впрочем, до сих пор в этом отношении проявляется очень заметная разница между историками разных национальных школ: французская и даже английская историография часто обнаруживают гораздо большую небрежность в оформлении справочного аппарата, чем, например, наша отечественная историография, не говоря уже о немецкой, где количество сносок и комментариев является чуть ли не основным показателем фундаментальности исторической работы.

Возвращаясь к собственно интуитивистской тенденции в историографии, наметим лишь некоторые линии трансформации, которую претерпели романтические новации в последующих исторических трактовках прошлого.

Весьма плодотворной и поразительно «долгоиграющей» оказалась романтическая тема *коллективного исторического героя* в виде народа, расы, нации, класса. На политический романтизм, как писала Х. Арндт, часто возлагаются «обвинения в изобретении расистского мышления, как и обвинения, и притом обоснованные, в изобретении любого другого мыслимого безответственного подхода»³⁸. В частности, романтиков обвиняли в порождении национализма и даже коммунистической идеологии классовой вражды, как это делал, например, Б. Кроче:

«...Составитель “Коммунистического манифеста”, торопящий словом и делом конец буржуазии, но одновременно выступающий с торжественным панегириком ее свершениям, показал себя законным отпрыском романтической мысли...» (Кроче 1998 [1917]: 164).

³⁸ Арндт 1996 [1951/1966]: 240.

Впрочем, как разъясняет Х. Арндт, к романтизму, строго говоря, можно предъявить любые претензии (и точно так же приписать ему любые заслуги — *И. С., А. П.*), ибо

«ни один реальный предмет, ни одно политическое событие, ни одна политическая идея не были застрахованы от того, чтобы стать объектом всеохватывающей и разрушительной мании, с которой эти первые просвещенные неизменно отыскивали новые оригинальные возможности для новых оригинальных точек зрения» (Арндт 1996 [1951/1966]: 241).

Если впоследствии на фундаменте, заложенном романтиками, националистическая историография на протяжении полутора столетий развивала версии национальной истории, создавая национальные конструкты прошлого и изобретая (Хобсбаум) национальные традиции, то социалистическая, в том числе и марксистская, социологизирующая история в полной мере использовала заложенный романтической историографией потенциал классового подхода.

Однако по существу национальные и классовые истории уже во второй половине XIX в. стали совершенно иными, чем в интерпретациях романтиков. Приход позитивистов в историческую профессию привел к тому, что национальная история в целом изменила направление и стала развиваться преимущественно в русле нарративной политической истории с «действующими» политиками, дипломатами и полководцами. Социальная же история все больше превращалась в социологизирующую, иллюстрируя действие «исторических законов» и демонстрируя операбельность историко-социологических схем. Там человеку вообще места не находилось, а народ предстал в виде абстрактной единицы или отдельных макроструктур.

Пестрая толпа действующих лиц исторической драмы, включая массовку, надолго покинула страницы исторических трудов. В социологизирующей истории действовали все более абстрактные массы, в нарративной — ведущие исторические личности. Действия масс определялись законами, мотивы поступков личностей доказывались путем сопоставления документов. Историк принял позу стороннего наблюдателя или заинтересованного идеолога. Никакого сентиментализма, никакого самоотжествления с героями исторической драмы. Вместо этого ссылки на неумолимые законы исторического развития или архивные материалы.

Классовый подход, развернутый в рамках романтической историографии, получил научное развитие в экономической и социальной истории, и налет романтической риторики мы можем обнаружить разве что в пропагандистских изделиях типа «Манифеста коммунистической партии». Национальная история перешла в ведение разных идейных направлений

политической истории, варьируясь от расистских версий до благопристойных либеральных и консервативных.

В истории человека (или истории «людей») наступила пауза длиной почти в столетие. Поэтому мы специально обращаем внимание на известный, но как-то упускаемый из виду факт, что тема «народа» и его созидательной роли в истории была заявлена историками-романтиками. Представители же новой социальной истории второй половины XX в., претендовавшие на приоритет в создании «истории низов», совершенно игнорировали своих великих предшественников, обратившихся к этой проблеме более чем за век до них, причем как в области практических исследований, так и на уровне манифестов. Конечно, новая социальная история представляет собой научное знание о прошлом, опирающееся на методологические достижения разных социальных и гуманитарных наук, но свою демократическую ориентацию, интерес к простому народу она унаследовала в том числе и от романтиков.

Если *народ* можно считать главным тематическим нововведением романтиков, то важнейшим методологическим достоянием исторической науки, унаследованным от романтизма, что в первую очередь и отмечают все исследователи, стал *историзм*. Утверждение историзма хотя и произошло в романтической литературе, то есть за пределами научного знания, совершенно изменило традиционное историописание, создав в конечном счете почву для становления истории как научного знания о прошлом. Правда, как мы уже отметили, не вполне правильно относить метод историзма к наследию исключительно романтической мысли. Став основополагающим принципом историко-романтического подхода к прошлому, историзм в это же время утвердился и в сочинениях историков, не принадлежавших к романтическому направлению. Тем не менее, вклад романтиков в становление историзма неоспорим.

В прагматическом плане именно историзм позволил удовлетворить растущий интерес как к национальному прошлому, так и к истокам западной цивилизации. Майнеке считал историзм вторым по важности событием после Реформации³⁹. В середине XIX в. идея историзма становится ключевой как в философии истории, так и в историографии. Например, Токвиль, автор, далекий от романтических веяний, рассматривает Старый порядок не как то, против чего произошла революция, а как то, из чего революция выросла. Идея абсолютного разрыва с прошлым была заменена признанием, что в прошлом существовали корни нового, и что прошлое продолжает присутствовать в настоящем:

³⁹ Meineke 1946 [1936]: 2.

«По мере углубления в мое исследование я поражаюсь, постоянно подмечая в жизни Франции тех времен черты, удивляющие нас в жизни сегодняшней. Я находил там во множестве чувствования, которые, как я думал, порождены Революцией; я находил там во множестве идеи, которые, как я до сих пор считал, также происходят из эпохи Революции; я находил там тысячи привычек, <относительно которых я> полагал, что и они также привнесены Революцией. Повсюду находил я корни современного общества, глубоко вросшие в ту старую почву» (Токвиль 1997 [1856]: 5).

В последней трети XIX в. идеи развития и органицизма становятся едва ли не доминирующими как в историософии, так и в историографии, в том числе под влиянием эволюционистско-биологических теорий. В это же время историзм получает развитие в историческом материализме, о чем свидетельствуют характерные для марксизма постулаты о тесной связи прошлого с настоящим, объективной реальности прошлого по отношению к настоящему, идея стадияльного развития и соответственно качественного различия общественно-экономических эпох.

Показательно, что основоположники марксизма резко размежевались со школой Ранке, представлявшей в своих работах одновременно консервативный и идеалистический вариант историзма. Похоже, что произведения самого Ранке они игнорировали вполне сознательно. Ни Маркс, ни Энгельс не ссылались ни на одно из его сочинений, используя в своих работах труды тех английских и французских историков, которых считали менее «реакционными», а также сочинения некоторых представителей гейдельбергской исторической школы в Германии.

Как философское понятие историзм окончательно концептуализируется в первой трети XX в., прежде всего в работах Трельча и Майнеке. Но в качестве историографической практики, по мере сокращения удельного веса работ по большим периодам, он начинает сходить на нет, переходя в основном в область философии истории. Тем не менее видение прошлого историками по-прежнему опирается на принцип историзма.

Идее историзма, согласно которой каждый период рассматривался как уникальное проявление человеческого характера, собственной культуры и ценностей, соответствовала задача создания исторического *контекста* — примет времени, духа времени, и, наконец, человека времени и его ментальности. Со времен романтиков требование воссоздания *исторического контекста*, породившее самые разные способы репрезентации *Другого* времени (от обзора «социально-экономических предпосылок» в качестве вводной главы до вымышленных диалогов исторических героев с автором исследования⁴⁰), стало неременным требованием к исторической работе,

⁴⁰ См., например: Дэвис 1999 [1995]: 7—10.

даже самой схематичной. Даже позитивизм, уничтоживший самый дух романтизма, не сильно поколебал эти основы, заложенные романтической историографией. В рамках самой позитивистской школы исторический контекст был проблематизирован представителями культурно-исторической школы (И. Тэн и др.). В последние десятилетия контекстуальность получила развитие в исследованиях исторической ментальности, которая трактуется как сочетание (*франц.* — Ensemble) способов и содержаний мышления и восприятия, которое является определяющим для данного коллектива в данное время и выражается в действиях⁴¹.

Одним из декларированных романтиками способов проникновения в контекст *Другого* времени было вчувствование. Эта техника, хотя и потеряла статус основополагающей в работе современного историка, сохранилась в арсенале исторических методов. Получив научное обоснование и научное звучание (*Einflussung*) в работах В. Дильтея, она имела adeptов и в XX в. Например, в 1929 г. в работе «Задачи истории культуры» Й. Хейзинга писал:

«Есть очень важный элемент в историческом понимании, который лучше всего обозначить как “чувство истории”. Можно говорить и о “контакте с историей”... Этот не вполне поддающийся точному определению контакт с прошлым есть вхождение в определенную атмосферу, это одна из множества данных человеку форм выхода за пределы самого себя, форм переживания истины. Это не эстетическое наслаждение, не религиозное переживание, не нахлынувшее внезапно благоговение перед природой, не метафизическое узнавание — и все же оно стоит в этом ряду... То, что при этом постигается умом или создается воображением, едва ли может быть названо образом. Принимая форму, оно остается сложным и смутным — некое предчувствие (*Ahnung*) дорог и домов и полей, звуков и цветов, также как и людей, вызывающих это предчувствие и вызванных им. Это ощущение соприкосновения с прошлым, сопровождаемое полной убежденностью в подлинности и истинности, может пробудить строка из старинного документа или из хроники, гравюра, несколько звуков старинной песни...

Очевидно, что “чувство истории” настолько существенно, что оно всегда переживается как истинный момент постижения истории» (*Хейзинга* 1997[1929]: 248—249).

Больше всего историки мобилизовали тактику вчувствования, когда ставили перед собой задачу проникновения в сознание человека прошлого, иными словами, изучения его ментальности. Очевидно, что умы, например, средневековых людей были устроены иначе и без вчувствования

⁴¹ *Dinzelbacher* 1993: 98. В отдельных работах по истории ментальности можно обнаружить, например, призывы искать «соединительную ткань духа» (*Le Goff* 1974: 82).

здесь не обойтись. Правда, по нашему мнению, интуитивистский подход к исследованию ментальности прошлых эпох правильнее ограничить подступами к этой тематике историков первой половины прошлого века (А. Берр, Й. Хейзинга, Л. Февр, но не М. Блок), потому что впоследствии, когда история ментальностей сформировалась как самостоятельная субдисциплина, она пошла по пути эмпирического описания логик восприятия и поведения, соотношения смыслов с обрядами и т. д., то есть по вполне аналитическому пути.

В одной из своих программных работ известный представитель исторической антропологии Р. Дарнтон, суммируя те преимущества, которые антропология может предложить историку, назвал и некоторые приемы, в которых мы видим черты интуитивистского подхода. В рамках метода это вхождение в другую культуру, начиная с «невнятного», «темного» (ораке) обряда, текста или действия; в области программы — стремление увидеть вещи глазами туземца, понять, что он имеет в виду и выявить социальные параметры смысла⁴².

Об этом же пишет П. Бёрк, когда замечает, что нашему современнику не дано понять схоластическую идею «корреспонденции» между семью планетами, семью днями недели, семью металлами и т. д. Ведь «корреспонденция» — не тождество и не подобие. Более уместен здесь, по мнению Бёрка, термин «мистическое сопричастие», с помощью которого Леви-Брюль описывал отношение человека к его тотему⁴³.

Тем не менее, уже Хейзинга подчеркивал, что какой бы важной не была функция со-переживания (*Nacherleben*), — этот немецкий термин он считал неточным, но не находил лучшего⁴⁴, — она вступает в действие лишь время от времени и «это всего лишь часть понимания истории», если ориентироваться на «подлинно научное современное историческое произведение самого высокого качества»⁴⁵.

Как видно из приведенного выше рассуждения Хейзинги, вчувствование сродни воображению, но не равно ему. Воображение — это универсальная человеческая способность к построению новых целостных образов реальности путем переработки содержания сложившегося практического,

⁴² *Дарнтон* 2002 [1984]: 347.

⁴³ *Burke* 1986: 441.

⁴⁴ «Если это действительно тот элемент понимания истории, который многие обозначают как *Nacherleben* (со-переживание), тогда термин выбран неверно. *Nacherleben* слишком определенно обозначает психологический процесс. “Чувство истории” осознается все-таки не как со-переживание, но как понимание, которое сродни пониманию музыки или, скорее, пониманию мира через посредство музыки... В действительности же это чувство, видение, контакт, *Ahnung* [предчувствие] сводится к мгновениям особой духовной ясности» (*Хейзинга* 1997[1929]: 248—249).

⁴⁵ *Хейзинга* 1997[1929]: 250.

чувственного, интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта. Если романтизм не оставил после себя прямых наследников, то *воображение*, концептуализированное романтиками в качестве наиболее эффективного способа познания (или *воскрешения*) прошлой социальной реальности, конечно, используется в процессе исторического творчества. Но после романтиков ни одно историографическое направление не декларирует технику воображения в качестве основного способа репрезентации прошлого.

В истории неизбежно остаются пустоты, связь между которыми историк устанавливает с помощью воображения, равно как и непонятные представления и мотивы людей ушедшей эпохи, для проникновения в суть которых историк не находит рациональных оснований. Воображение играет важную роль в представлениях тех историков, которые полагают, что реконструкция прошлого историком включает чувство сопричастности или творческое воображение⁴⁶. Современный английский историк Тревор-Ропер использовал этот термин примерно в том же смысле, говоря о способности историка оценивать нереализованные варианты альтернативной истории⁴⁷.

Понятие «воображение» сегодня употребляется литературоведами, литературными критиками, философами и историками (оставляя за скобками психологов). В приложении к историографии оно обычно используется не-историками для доказательства меньшей строгости истории по сравнению с другими науками. Этот тезис в последние десятилетия активно эксплуатировали и постмодернисты, утверждая, что «все исторические произведения в некотором роде являются художественными»⁴⁸.

В дискуссиях о методологии истории на протяжении XX в. понятие «воображение», и в этом тоже прослеживается романтическая традиция, продолжало использоваться в разных смыслах. Первый относился к способности историка понять или обобщить природу прошлого, второй — к способности историка передать свое понимание читателю. Беспорным позитивным результатом такого подхода стало продолжение традиции работы над *Другими* прошлыми, последовательное преодоление анахронизма в историческом знании. Этот аргумент и поныне приводят те историки и философы, которые высказываются в пользу воображения в историческом труде⁴⁹.

Р. Коллингвуд в 1930—1940 гг. разработал развернутую концепцию исторического воображения, опираясь на идеи Канта, понимавшего вообра-

⁴⁶ Beer 1963: 22—23; Walzer 1963: 76—79.

⁴⁷ Trevor-Roper 1981: 356, 361.

⁴⁸ White 1978 [1975]: 107.

⁴⁹ Hughes 1964: 97; Curtis 1970: 274; Walsh 1960 [1951]: 105—106; Wedgwood 1960: 68.

жение как всеобщее свойство сознания. Главной новацией Коллингвуда стало введение понятия «историческая конструкция», в которой воображение трактуется как структура, существующая а priori. Именно это конструктивное воображение структурирует образ мира прошлого, создает каркас воображаемой исторической конструкции, в которой исторические свидетельства играют роль опорных точек.

«Воображение, эта слепая, но необходимая способность, без которой, как показал Кант, мы никогда не смогли бы воспринимать мир вокруг нас, необходимо в том самом смысле и для истории. Именно оно, действуя не произвольно, как фантазия, а в своей *априорной* форме, осуществляет всю конструктивную работу в историческом познании» (Коллингвуд 1980 [1946]: 230).

Такое воображение мобилизуется не для развлечения и привлечения публики, оно собственно суть современного исторического сознания и им, как особым свойством сознания, наделен любой человек, а отнюдь не только историк.

«Тем самым картина предмета исследования, создаваемая историком, безотносительно к тому, является ли этот предмет последовательностью событий или же состоянием вещей в прошлом, представляет собой некую сеть, сконструированную в воображении. Сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками — представленными в его распоряжение свидетельствами источников; и если этих точек достаточно много, а нити, связующие их, протянуты с должной осторожностью, всегда на основе априорного воображения и никогда — на произвольной фантазии, то вся эта картина будет постоянно подтверждаться имеющимися данными, а риск потери контакта с реальностью, которую она отражает, будет очень мал» (Коллингвуд 1980 [1946]: 231).

Идеи Коллингвуда, с одной стороны, подверглись серьезной критике в последующие годы, но с другой — получили продолжение в некоторых направлениях философии истории. Введенный им термин «историческая конструкция» стал основанием теории исторического знания, известной под именем конструкционизма. К основоположникам этого направления Коллингвуда, как и Кроче, относят не вполне обоснованно, так как в конструкционизме принципиально существует отказ от «исторического реализма», от трактовки исторического воображения (равно как и других ментальных операций исторического исследования) как способа *отражения* реальности.

Представители конструкционизма выступают против концепции «исторического реализма», утверждающей, что историк открывает «действительную» природу реальных феноменов (событий, личностей, институтов). В рамках этого методологического направления (представленного в работах К. Беккера, М. Мандельбаума, Л. Голдштайна, У. Дрея, М. Уайта и др.)

историк рассматривается как «творец», а не как «открыватель», в прямом смысле как создатель «конструкции», а не «реконструкции». Конструкционисты утверждают, что реальное прошлое, независимо от того, существует оно или нет, ничего общего с историческим знанием не имеет. Если реалисты считают, что то, во что «свидетельства заставляют нас верить» соответствует независимо существовавшему «реальному» прошлому, то конструкционисты настаивают на том, что историческое прошлое — это всего лишь прошлое, созданное в рамках исторической дисциплины, прошлое, существующее исключительно в историческом знании⁵⁰.

В свою очередь, в работах Х. Уайта и последовавших за ним представителей «новой интеллектуальной истории» (Ф. Анкерсмит, Д. Ла Капра, Л. Госсман, Г. Келлнер и др.), в отличие от позиции Коллингвуда, историческое воображение — это не внутренне присущая сознанию структура в метафизическом кантовском смысле, а отражение социокультурно обусловленных конвенций фигуративного языка, которые, обладая когнитивными функциями, формируют определенный способ репрезентации знания о прошлом. В основании работ представителей «лингвистического поворота», сосредоточивших усилия на изучении художественной стороны процесса исторического творчества, «содержания формы» текста, языка и речи, письма и чтения, лежала идея ревизии содержания исторической реальности как предмета изучения. Постструктуралисты ввели понятие *образ реальности* или *эффект реальности*, которое и противопоставили объективной исторической реальности⁵¹.

Воображение, особенно когда оно имеет орнаментальный, украшательский характер, и все связанные с ним интуитивистские техники (вчувствование, сопереживание и т. д.) подразумевают и определенные способы создания непосредственного чувства прошлого, его «воскрешения» с помощью риторических средств. В этом случае речь идет уже о литературном мастерстве, а не о когнитивном значении воображения. После романтиков профессиональные историки в большинстве своем сначала сознательно, а потом руководствуясь установившимся каноном, все меньше заботились о литературной стороне своих произведений. Более того, если историк отличался излишней литературностью стиля, то это лишь возбуждало серьезные сомнения относительно его способности к историческому мышлению⁵². Считалось, что внимание к выразительности, как правило, идет в ущерб «исторической правде». Если кто и завораживал читателя своим слогом, то скорее некоторые представители философии исто-

⁵⁰ Подробнее о конструкционизме в философии истории см.: Meiland 1965; Nowell-Smith 1971.

⁵¹ Подробнее см.: Зверева 2001: 48—49.

⁵² Именно так пишет П. Гэй о манере известного английского историка Т. Маколея (Gay 1974: 98).

рии — Ницше, Шпенглер, Ясперс, Тойнби — в произведениях которых впечатляющие интерпретации и схемы исторического процесса соединяются с литературностью изложения.

Тем не менее, владение риторическими приемами, подчас виртуозное, присуще многим выдающимся историкам XX столетия, и их мастерство особенно ярко обнаруживается в эссе, лекциях и других «сопутствующих» или побочных жанрах исторического труда. Однако для историка, который решается ввести в свое исследование литературные приемы, существовали строгие ограничения. Эти ограничения, может быть, и объясняют тот очевидный факт, что «труднее написать великую историю, чем великий роман. Поэтому в последние 200 лет было намного больше великих романов, чем великих историй»⁵³.

Однако стремление писать литературно и сделать свои «главные» научные труды достоянием не только профессионалов, но и просто образованной читательской аудитории, возрождается в историческом сообществе с конца 1970-х гг., когда существенно окрепла тенденция к пересмотру предметных оснований и эпистемологических принципов исторического знания. Тогда и появляется новая волна исторических бестселлеров, созданных историками, способными писать «историю как роман» — Э. Ле Руа Ладюри, К. Гинзбург, Р. Дарнтон, Н. З. Дэвис и др.⁵⁴ Эти авторы славятся своей сознательно беллетристической манерой, могут свободно ставить себя на место своих героев, делать отступления, вставки и т. д.

Сегодня существует также небольшая группа историков, которые экспериментируют с «творческим nonfiction». Например, известный историк Голо Манн, сын знаменитого Томаса Манна, написал биографию генерала XVII в. Альбрехта фон Валленштайна⁵⁵, используя для достижения научных целей метод потока сознания, и сам назвал свою работу «совершенно настоящим романом». Впрочем, английский историк П. Бёрк, анализирующий это произведение, замечания Манна находит более убедительными, чем его текст⁵⁶. Конечно, литературно одаренных историков не так много, но, что гораздо важнее, их успех как в профессиональной, так и в читательской аудитории меняет (можно сказать, уже изменил) языковую норму исторического исследования.

В наши дни вполне пристойно издать как традиционную работу, текст которой отличается точностью и сухостью, а сноски и комментарии зани-

⁵³ Lukacs 1968: 127.

⁵⁴ Многие из этих работ в последние годы были изданы в России: Ле Руа Ладюри 2001 [1975]; Гинзбург 2000 [1976]; Дарнтон 2002 [1984]; Дэвис 1990 [1983]; 1999 [1995].

⁵⁵ Mann 1976 [1971].

⁵⁶ Burke 1993: 128.

мают до трети страницы, так и книгу, написанную живым «авторским» языком, не злоупотребляющую подстрочником. Возникшая сравнительно недавно практика удаления сносок и примечаний в конце главы или книги также свидетельствует о желании облегчить восприятие основного текста, а не кичиться научным аппаратом. (К сожалению, для специалистов такая практика создает большие проблемы.)

Благодаря отличному литературному стилю романтическая историография сохраняется в наши дни и как специфический объект исследования истории-текста, но в основном в литературоведческих трудах. Постольку поскольку интерес к истории в значении «текста» привлек внимание преимущественно к литературно одаренным историкам, объектами анализа оказались труды известных историков-романтиков — О. Тьерри, Ж. Мишле, Т. Карлейля (впрочем, и А. де Токвиля, и Л. фон Ранке, и Т. Маколея)⁵⁷.

* * *

Как целостное самостоятельное явление интуитивистская историография осуществилась только в романтизме и ушла со сцены в середине XIX в. На смену ей пришла историография позитивистская. Трудно удержаться, чтобы не привести темпераментную оценку, данную Б. Кроче недаровитой исторической мысли позитивистов:

«В лицо именно таким поверхностным, неумным, приблизительным, фантастическим историям романтизм, сознающий, на какую высоту он поднял изучение человеческой жизни в ее развитии, мог бы бросить слова Бонапарта, сказанные 18 Брюмера: “Что вы сделали с той блестящей Историей, которую я вам оставил? Это и есть ваши новые методы, сулившие решение всех проблем, которые мне разрешить не удалось? Я не вижу вокруг ничего, кроме ошибок и убожества”» (Кроче 1998 [1917]: 180).

Однако во второй половине XIX в. к позитивистскому направлению в историографии принадлежало уже большинство наиболее известных историков. Становление социальных наук и дифференциация истории как автономной формы научного знания привело к тому, что магистральным направлением знания о прошлом становится историческая наука. Понятно, что история в значении «текста» в этих условиях обречена была на маргинальное существование. Историография первой половины XIX в., в рамках которой свободно уживались и позволяли коммуницировать

⁵⁷ Peuzov 1956; Yaïm 2002 [1973]; Gay 1974; Shiner 1988; Kellner 1989; Orr 1990; Rigney 1990.

с широким читателем, условно говоря, литературный и научный жанры, во второй половине века дифференцируется на популярную историческую литературу и профессиональную.

Профессиональная историография становится научной (аналитической), а интуитивистский способ конструирования прошлого остается достаточно значимым в версиях романтизированной исторической биографии, популярной истории, адресованной массовому читателю, и, конечно, в исторических романах. Интуитивистский подход также обнаруживается в крайне идеологизированных националистических историях, ориентирующихся на иррациональные стереотипы.

Еще одной областью, где укоренился романтический вариант знания о прошлом, на Западе является учебная литература, особенно для младших школьников⁵⁸. Как считает английская исследовательница К. Стивмен, история — один из трудных и абстрактных предметов, непосредственно не связанных с интересами ребенка, и для детей наиболее приемлема версия очень консервативного (и, добавим, желательно — героического) исторического романа⁵⁹. Это обстоятельство, связанное с особенностями познания в детском возрасте, в Западной Европе привело к формированию достаточно устойчивого типа школьного учебника по истории и соответствующих книг для детского чтения.

Литература

- Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. М.: ЦентрКом, 1996 [1951/1966].
- Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001 [1973].
- Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XV в. / Пер. с итал. М.: РОССПЭН, 2000 [1976].
- Далин В.М. Историки Франции XIX—XX веков. М.: Наука, 1981.
- Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Пер. с англ. М.: НЛО, 2002 [1984].
- Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы // Новое литературное обозрение, 2002. № 57. С. 6—23.
- Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Гера / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990 [1983].
- Дэвис Н.З. Дамы на обочине: три женских портрета XVII века / Пер. с англ. // Новое литературное обозрение, 1999 [1995].

⁵⁸ См., например: Feppo 1992 [1986].

⁵⁹ Steedman 1989: 27.

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: Аксиома; Новатор, 1996 [1914].

Зверева Г.И. Понятие «новизны» в новой интеллектуальной истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М.: УРСС, 2001. Вып. 4. С. 45—54.

Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. М.: РГГУ, 2002.

Карлейль Т. Прошлое и настоящее [1843] // Т. Карлейль. Теперь и прежде / Пер. с англ. М.: Республика, 1994. С. 199—294.

Карлейль Т. Французская революция. История / Пер. с англ. М.: Мысль, 1991 [1837].

Кено Р. Голубые цветочки / Пер. с фр. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994 [1965].

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946] // Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980.

Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917].

Лавджой А. Великая цепь бытия. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001 [1936].

Ле Гофф Ж. Средние века Мишле [1974] // Ж. Ле Гофф. Другое Средневековье / Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000 [1977]. С. 13—35.

Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294—1324) / Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001 [1975].

Местр Ж., де. Рассуждения о Франции / Пер. с фр. М.: РОССПЭН, 1997 [1979].

Мишле Ж. Ведьма [1862] // Ж. Мишле. Ведьма. Женщина / Пер. с фр. М.: Республика, 1997. С. 16—243.

Новалис. Афоризмы и фрагменты [1798] // Г. Шульц. Новалис / Пер. с нем. Челябинск: Урал LTD, 1998 [1969/1996]. С. 295—313.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс [1930] // Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры / Пер. с исп. М.: Искусство, 1991. С. 309—349.

Рейзов Б.Г. Французская романтическая историография. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1956.

Савельева И.М., Полетаев А.В. История как теоретическое знание // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М.: УРСС, 2000. Вып. 3. С. 15—33.

Савельева И.М., Полетаев А.В. Историческая истина: эволюция представлений // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М.: УРСС, 2001. Вып. 4. С. 162—181.

Токвиль А., де. Старый порядок и революция / Пер. с фр. М.: Московский философский фонд, 1997 [1856].

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002 [1973].

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / Пер. с фр. М.: Высшая школа, 1992 [1986].

Хейзинга Й. Задачи истории культуры [1929] // Homo ludens. Статьи по истории культуры / Пер. с голл. М.: Прогресс -Традиция, 1997. С. 216—272.

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции / Пер. с фр. М.: Искусство, 2001 [1990].

Шульц Г. Новалис / Пер. с нем. Челябинск: Урал LTD, 1998 [1969/1996].

Beer S.H. Causal Explanation and Imaginative Re-Enactment // History and Theory. 1963. Vol. 3. No. 1. P. 3—29.

Burke P. History and Social Theory. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1993.

Burke P. Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities // History of European Ideas. 1986. Vol. 7. No. 5. P. 439—451.

Butterfield H. Man on His Past. The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge: Cambridge University Press, 1955.

Cantor N.F. Western Civilization. Its Genesis and Destiny. From 1650 to the Present Day. Glenview (Illinois): Scott, Foresman and Co., 1969.

Curtis L.P., Jr. Of Images and Imagination in History // Ed by L.P. Curtis, Jr. The Historian's Workshop. N.Y.: Knopf, 1970. P. 245—276.

Eichner H. Introduction // Ed by H. Eichner. «Romantic» and its Cognates. The European History of a Word. Manchester: Manchester University Press, 1972.

Gay P. Style in History. N.Y.: Basic Books, 1974.

Gooch G.P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.; N.Y.; Toronto, etc: Longmans, Green and Co. Ltd., 1928 [1913].

Dinzelbacher P. (Hrsg.) Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart, 1993.

Hughes H.S. History as Art and as Science: Twin Vistas on the Past. Chicago.: University of Chicago Press, 1964.

Hutton P. History as an Art of Memory. Hanover and L: University Press of New England, 1993.

Kellner H. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked. Madison, 1989.

Lukacs J. Historical Consciousness, or The Remembered Past. N.Y.; L.: Harper & Row, 1968.

Mann G. Wallenstein. L., 1976 [1971].

Matsuda M.K. The Memory of the Modern. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1996.

Meiland J.W. Skepticism and Historical Knowledge. N.Y.: Random House, 1965.

Meinecke F. Die Entstehung des Historismus. 2. Aufl. München: Leibniz, 1946 [1936].

Novalis. Blütenstaub [1798] // Novalis. Schriften. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1965. Bd. 5.

Nowell-Smith P.H. What Actually Happened. Lawrence (Kans.): University of Kansas Press, 1971.

Orr L. Headless History: Nineteenth Century French Historiography of the Revolution. Ithaca: Cornell University Press, 1990.

Pocock J.G.A. The Origins of Study of the Past: A Comparative Approach // Cambridge Social Science History, 1961. Vol. 4. P. 209—246.

Ranke L, von. Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535 [1824] // L. von Ranke. Hauptwerke. Wiesbaden, 1957. Bd. 1.

Rigney A. The Rhetoric of Historical Representation: Three narrative Histories of the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Shiner L. The Secret Mirror: Literary Form and History in Toqueville's «Recollections». Ithaca: Cornell University Press, 1988.

Steedman C. True Romances // Ed by R. Samuel. Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity. 3 vols. L.; N.Y.: Routledge, 1989. Vol.1. P. 27—40.

Thierry A. Preface // Dix ans d'études historiques. 5 éd. P.: s. n., 1836 [1834].

Thierry A. Lettres sur l'histoire de France [1820] // Dix ans d'études historiques. 5 éd. P.: s. n., 1836 [1834].

Trevor-Roper H. History and Imagination // Ed by H. Lloyd-Jones, V. Pearl and B. Worden. History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper. L.: Duckworth, 1981. P. 356—369.

Walsh W.H. Philosophy of History: An Introduction. N.Y.: Harper & Row, 1960 [1951].

Walzer M. Puritanism as a Revolutionary Ideology // History and Theory, 1963. Vol. 3. No. 1. P. 59—90.

Wedgwood C.V. Truth and Opinion. Historical Essays. L.: Collins, 1960.

White H. Historicism, History and the Figurative Imagination [1975] // H. White. Tropics of Discourse: Essays on Cultural Criticism. Baltimore: John Hopkins University Press, 1978. P. 101—120.

Препринт WP6/2003/06

Серия WP6

Гуманитарные исследования ИГИТИ

Редактор серии И.М. Савельева

Савельева Ирина Максимовна
Полетаев Андрей Владимирович

История и интуиция: наследие романтиков

Публикуется в авторской редакции

Зав. редакцией *Е. В. Попова*

Выпускающий редактор *А. В. Заиченко*

Технический редактор *С. Д. Зиновьев*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.

Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.

Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 2,88. Усл. печ. л. 3,02. Заказ № 225. Изд. № 416

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Типография ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Для заметок
